

ЛИТЕРА

Литературно-художественный журнал Республики Марий Эл

Издаётся с 2012 года

№ 4

октябрь-декабрь 2012 года

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия и проза

ВЛАДИМИР КРУПИН. Жертва вечерняя. Рассказы.	3
АЛЕВТИНА САГИРОВА. Талые воды – слёзы зимы. Стихи	17
СЕРГЕЙ ШЕЛЕПОВ. Прощание с Еленкой. Повесть.....	24
ВЛАДИМИР МАРЫШЕВ. По дороге в мезозой. Фантастический рассказ.....	59
ЮЛИЯ ЦВЕТКОВА. С душой, распахнутой до дна. Стихи	64
АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ. Привязанный. Рассказ.....	67
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ. Закуси горе луковицей. Повесть	71
КОНСТАНТИН СИТНИКОВ. Цвиркуны. Рассказ	115
СВЕТЛАНА СЫРНЕВА. Где ты, моё золотое окно? Стихи	119
АНАТОЛИЙ СКАЛА. Пыльца синих небес. Рассказ	127

Памятные записки

МАРГАРИТА ДЕСЯТНИК. Отец.....	135
-------------------------------	-----

Критика

АЛЕКСАНДР ЛИПАТОВ. Половодье земных и грёзовых чувств.....	145
--	-----

История и судьбы

АРНОЛЬД МУРАВЬЁВ. Ты взойди, сударь, во город.	149
---	-----

Учредитель: Правительство Республики Марий Эл

Издатель: Государственное унитарное казённое предприятие «Марий журнал»

Главный редактор
Сергей Витальевич Лоскутов

Редакционная коллегия:

Васютин Михаил Зиновьевич – заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
Карпов Игорь Петрович – профессор кафедры русской и зарубежной литературы Марийского государственного университета, доктор филологических наук.

Лоскутов Сергей Витальевич – начальник управления общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл.

Николаев Валерий Владимирович – писатель, член Союза писателей России.

Подольский Анатолий Анатольевич – поэт, член Союза писателей России.

Попов Вячеслав Григорьевич – писатель, член Союза писателей России.

Сагирова Алевтина Александровна – поэтесса, член Союза писателей России.

Стариков Сергей Валентинович – профессор кафедры отечественной истории Марийского государственного университета, доктор исторических наук.

Щеглов Сергей Африканович – редактор журнала «Марийский мир – Марий Сандалык».

Адрес редакции и издателя:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. 70-летия Вооружённых Сил СССР, д. 20

E-mail
loskutov@gov.mari.ru
afrik60@mail.ru
Anatolij@Podolskij.ru

Автор обложки – народный художник России Александр Сергеевич Бакулевский.

Подписано в печать 10.12.2012 г.

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 10 усл. печ. л.

Тираж 999 экз. Заказ ____.

Отпечатано в Марийском рекламно-издательском полиграфическом предприятии.

424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 8г .

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклонённые рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции.

ВЛАДИМИР КРУПИН

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

Рассказы

И кто возразит, что в прошлое заглянуть труднее, чем в будущее? В будущем одно: Страшный суд, а в прошлом всё то, что его готовило. Жил я среди грешных людей, сам грешил, да ещё и себя оправдывал: все такие, даже хуже. Но уже одна эта мысль говорит, что грешнее всех был я. Адам, сваливающий вину на Еву, был грешнее Евы.

Все теперешние мои вечера соединились в один вечер, в вечер моей жизни. Давай, брат, попробуем, пока есть силёнки, отвязаться от того, что вспоминается внезапно или помнится постоянно, то есть уже мешает. Пора свой дом подметать. А сколько прожито, сколько пережито! Как пелось в моряцкой песне: «Эх, сколько видано, эх, перевидано, после плаванья в тихой гавани вспомнить будет о чём». Но не получилось в старости тихой гавани, да и перевиданное пригодится ли кому? Это же только мечтается, что чужое знание пригодится в «быстротекущей жизни». Каждый себе свои набивает шишки.

ОТЕЦ В КОНЦЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

Отец мой настолько переживал за всё происходящее в России, что даже не мог уже ни читать газет, ни смотреть телевизор, ни выходить на улицу. Везде, во всём он видел знаки падения страны и её насильственного разрушения. В газетах хвалят именно то, что убивает Россию, по телевизору показывают, как это делается. Выйдешь на улицу, эта гибель уже здесь: девчонки идут в штанах, курят, парни матерятся, на ходу хлебают из бутылок.

Обычно отец сидел у окна на кухне и молча курил.

– Пап, ты сам-то куришь много.

– Так сколько мне, сколько им? Да я и не в затылку. А когда я закуривал? В войну, от голода. – Смотрит, как дымок утекает в форточку, провожает его взглядом, тушит сигарету, встаёт: – Волокнут Россию к эшафоту, ещё только петлю накинута. В войну было легче.

Крупин Владимир Николаевич родился в 1941 году в Кировской области. Автор более 20 книг. Сопредседатель правления Союза писателей России. Живёт в Москве.

- А чем было легче?
- Сволочей и подлецов не было.
- Я уверен, что были.

– Были не были, а обязаны были поступать, как все. Эх, матушка Россия! Коротко нас запрягли, крепко зауздали. Тронули шпорой под бока. Но вот тут-то мы и не поехали!

Опять закуривает. Успокаивается.

- Тут главное ремень затянуть. А это мы можем.
- То есть не смогут нас захомутать?

Отец загадочно отвечал:

- Да где-то близко к этому.

ЧУДО КАК НОРМА

Кто впервые идёт на Крестный ход, обязательно поражается тому, как на чистом небе, даже и не после дождя, возникает и сияет огнецветье радуги.

А кто постоянно ходит, этому не удивляется. Чудо? Да, чудо. Но это же Крестный ход. Господь видит наши труды, наши молитвы слышит, посылает утешение.

А бесчисленное количество раз бывало, и бывает, когда в пасмурный день берёшься читать Послания или Евангелие, или становишься на Акафист, и вдруг освещается пространство комнаты светлыми лучами.

И всегда явное чудо бывает, например, при освящении храма, Креста, при закладке церкви. Вдруг, в добавление к окроплению, с неба падают животворные капли дождя, хотя никакого дождя не ожидалось, и туч не было.

То есть всё просто напрямую говорит нам о Божием присутствии в мире, в нашей жизни, в жизни каждого из нас.

Какое же это чудо, так оно и есть: под Богом и перед Богом ходим. И нечему тут удивляться.

УПРЯМЫЙ СТАРИК

На севере вятской земли был случай, о котором, может быть, и поздно, но хочется рассказать.

Когда началась так называемая кампания по сносу деревень, в деревне жил хозяин. Он жил бобылем. Похоронив жену, больше не женился, тайком от всех ходил на кладбище, сидел подолгу у могилки жены, клал на холмик полевые и лесные цветы. Дети у них были хорошие, работающие, жили своими домами, жили крепко (сейчас, конечно, все разорены), старика навещали. Однажды объявили ему, что его деревня попала в число неперспективных, что ему дают квартиру на центральной усадьбе, а деревню эту снесут, расширят пахотные земли. Что такой процесс

идёт по всей России. «Подумай, – говорили сыновья, – нельзя же к каждой деревне вести дорогу, тянуть свет, подумай по-государственному».

Сыновья были молоды, их легко было обмануть. Старик же сердцем понимал: идет нашествие на Россию. Теперь мы знаем, что так было. Это было сознательное убийство русской нации, опустошение, а вслед за этим одичание земель. Какое там расширение пахотной площади! Болтовня! Гнать трактора с центральной усадьбы за десять-пятнадцать километров – это разумно? А выпасы? Ведь около центральной усадьбы всё будет вытоптано за одно лето. И главное – личные хозяйства. Ведь они уже будут – и стали – не при домах, а поодаль. Придешь с работы измученный, и надо ещё тащиться на участок, полоть и поливать. А покосы? А живность?

Ничего не сказал старик. Оставшись один, вышел во двор. Почти всё, что было во дворе, хлевах, сарае, – всё должно было погибнуть. Старик глядел на инструменты и чувствовал, что предаёт их. Он затопил баню, старая треснутая печь дымила, ело глаза, и старик думал, что плачет от дыма. Заплаканным и перемазанным сажей, он пошёл на кладбище.

Назавтра он объявил сыновьям, что никуда не поедет. Они говорили: «Ты хоть съезди, посмотри квартиру. Ведь отопление, ведь электричество, ведь водопровод!» Старик отказался наотрез.

Так он и зимовал. Соседи все перебрались. Старые дома разобрали на дрова, новые раскатали и увезли. Проблемы с дровами у старика не было, керосина ему сыновья достали, а что касается электричества и телевизора, то старик легко обходился без них. Изо всей скотины у него остались три курочки и петух, да ещё кот, да ещё пёсик, который жил в сенях. Даже в морозы старик был непреклонен и не пускал его в избу.

Весной вышел окончательный приказ. Сверху давили: облегчить жизнь жителям неперспективных деревень, расширить пахотные угодья. Коснулось и старика. Уже не только сыновья, но и начальство приезжало его уговаривать. Кой-какие остатки сараев, бань, изгородь сожгли. Старик жил как на пепелище, как среди выжженной фронтовой земли.

И ещё раз приехал начальник: «Ты сознательный человек, подумай. Ты тормозишь прогресс. Твоей деревни уже нет ни на каких картах. Политика такая, чтоб Нечерноземье поднять. Скажу тебе больше: даже приказано распахивать кладбища, если со дня последнего захоронения прошло пятнадцать лет».

Вот это – о кладбищах – поразило старика больше всего. Он представил, как по его Анастасии идёт трактор, как хрустит и вжимается в землю крест, – нет, это было невыносимо.

Но сыновьям, видно, крепко приказали что-то решать с отцом. Они приехали на тракторе с прицепом, стали молча выносить и грузить вещи старика: постель, посуду, настенное зеркало. Старик молчал. Они по-

дошли к нему и объявили, что, если он не поедет, его увезут насильно. Он не поверил, стал вырываться. Про себя он решил, что будет жить в лесу, выкопает землянку. Сыновья связали отца: «Прости, отец» – посадили в тракторную тележку и повезли. Старик мотал головой и скрипел зубами. Пёсик бежал за трактором, а кот на полдороге вырвался из рук одного из сыновей и убежал обратно в деревню.

Больше старик не сказал никому ни слова.

ПАДАЕТ ЗВЕЗДА

Если успеть загадать желание, пока она не погасла, то желание исполнится. Есть такая примета.

Я запрокидывал голову и до слёз, не мигая, глядел с Земли на небо.

Одно желание было у меня, для исполнения которого были нужны звёзды, – то, чтоб меня любили. Над всем остальным я считал себя властным.

Когда вспыхивал, сразу гаснущий, изогнутый след звезды, он возникал так сразу, что заученное наизусть желание: «Хочу, чтоб меня любила...» – отскакивало. Я успевал сказать только, не голосом – сердцем: «Люблю, люблю, люблю!»

Когда упадёт моя звезда, то дай бог какому-нибудь мальчишке, стоящему далеко-далеко внизу, на Земле, проговорить заветное желание. А моя звезда постарается погаснуть не так быстро, как те, на которые загадывал я.

ГДЕ-ТО ДАЛЕКО

Много времени в детстве моём прошло на полатах. Там я спал и однажды – жуткий случай – заблудился.

Полати были слева от входа, длинные, из тёмно-скипидарных досок.

Мне понадобилось выйти. Я проснулся: темень, тёмная. Пополз, пятясь, но упёрся в загородку. Пополз вбок – стена, в другой бок – решётка. Вперёд – стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слёзы покапали на бедную подстилку из чистых половиков.

Тогда ещё не было понимания, что если ты жив, то это ещё не конец, и ко мне пришел ужас конца.

Всё уходит, всё уходит, но где-то далеко, далеко, в деревянном доме с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатах, ползает на коленках мальчик, который думает, что умер и который проживёт ещё долго-долго.

ЛОДКА НАДЕЖДЫ

У рыбацких лодок нежные имена: Лена, Светлана, Ольга, Вера... Я шёл с рыбаками на вечерний вымет сетей на баркасе «Надежда» и пошутил, что с лодкой надежды ничего не может случиться.

– Сплюнь! – велел старший рыбак.

Солнце протянуло к нам красную дорогу, и на конце этой дороги волны нянчили наш баркас.

Пришли на место. Выметали сети. Отгребли, запустили мотор.

Рыбак, тяжело ступая бахилами, подошёл и сел. Помолчал.

Прожектор заката вёл нас на своём острие.

– Надежда! – сказал рыбак. – На этой «Надежде» нас мотало, думали: хватит, поели рыбки, сами рыбкам на корм пойдём.

От лодки разлетались белые усы брызг, как будто лодка отфыркивалась в обе стороны.

– А ты ничего, – одобрил он. – Выбирать пойдёшь?

– Пойду.

И вот хоть верь, хоть не верь, своей дурацкой шуткой я накликнул беду. Когда на следующий день мы выбирали сети, налетел шторм.

Лодку швыряло, как котёнка. Ветер ревел так, что уничтожал крик у самых губ.

Вернув рыбу морю и отдав пучине сети, мы всё-таки выгребли. Когда, обессиленные, мы лежали на песке и волны, всхрапывая от злости, расшатывали причал, он крикнул:

– Как?!

Я показал ладони.

– Заживёт!

Я согласился, но всё равно сказал, что имя у лодки хорошее. Он засмеялся.

– Жена моя Надя. Каприз её был. Назови, говорит, лодку, как меня, тогда выйду.

– Хорошая?

– Лодка? Сам видел.

– Жена!

– Об чём речь. Сейчас с ума сходит.

Он стащил сапоги, вылил воду и хитро посмотрел на меня:

– Хочешь, надежду покажу?

– Да.

Я подумал, что в посёлке он покажет свою жену Надежду.

– Вот! – Он показал мне свои громадные ладони, величиной в три моих.

МУСЬКА

Муська – это кошка. Она жила у соседей целых восемнадцать лет. И все восемнадцать лет притаскивала котят. И всегда этих котят соседи топили. Но Муську не выбрасывали: хорошо ловила мышей.

Муська после потери котят несколько дней жалобно мяукала, заглядывала людям в глаза, потом стихала, а вскоре хозяйка или хозяин обнаруживали, что она вновь ждёт котят, и ругали её.

Чтобы хоть как-то сохранить детей, Муська однажды окотилась в сарае, дырявом и заброшенном. Котята уже открыли глазки и взирали на окружающий их мусор, а ночью таращились на звёзды. Была поздняя осень. Пошёл первый снег. Муська испугалась, чтоб котята не замёрзли, и по одному перетаскала их в дом. Там спрятала под плиту в кухне. Но они же, глупые, выползли. И их утопили уже прозревшими. С горя Муська даже ушла из дому и где-то долго пропадала. Но всё же вернулась.

Хозяева надумали продавать дом. Муську решили оставить в доме: стара, куда её на новое место. Муська чувствовала их решение и всячески старалась сохранить и дом, и хозяев. Наверное, она думала, что они уезжают из-за мышей. И она особенно сильно стала на них охотиться. Приносила мышей и подкладывала хозяевам на постель, чтоб видели. Её за это били.

Утром Муську увидели мёртвой. Она лежала рядом с огромной, тоже мёртвой крысой. Обе были в крови. Крысу выкинули воронам, а Муську похоронили. Завернули в старое, ещё крепкое платье хозяйки и закопали.

Хозяйка перебирала вещи, сортировала, что взять с собой, что выкинуть, и напала на старые фотографии. Именно в этом платье, с котёнком на коленях она была сфотографирована в далёкие годы. Именно этот котёнок и стал потом кошкой Муськой.

ПЕРВОЕ СЛОВО

В доме одного батюшки появился и рос общий любимец, внук Илюша. Крепкий, весёлый, рано начал ходить, зубки прорезались вовремя, спал хорошо – золотой ребёнок. Одно было тревожно: уже полтора года – и ничего не говорил. Даже к врачу носили: может, дефект какой в голосовых связках? Нет, всё в порядке. В развитии отстаёт? Нет, и тут нельзя было тревожиться: всех узнавал, день и ночь различал, горячее с холодным не путал, игрушки складывал в ящичек. Особенно радовался огонёчку лампы. Всё, бывало, чем бы ни был занят, а на лампадку посмотрит и пальчиком покажет.

Но молчал. Упадёт, ушибётся, другой бы заплакал – Илюша молчит. Или принесут какую новую игрушку, другой бы засмеялся, радовался – Илюша и тут молчит, хотя видно – рад.

Однажды к матушке пришла её давняя институтская подруга, женщина шумная, решительная. Села напротив матушки и за полчаса всех бывших знакомых подруг и друзей обсудила-пересудила. Все у неё, по её мнению, жили не так, жили неправильно. Только она, получалось, жила так, как надо.

Илюша играл на полу и поглядывал на эту тётю. Поглядывал и на лампаду, будто советовался с нею. И вдруг – в семье батюшки это навсегда запомнили – поднял руку, привлёк к себе внимание, показал пальчиком на тётю и громко сказал: «Кайся, кайся, кайся!»

– Да, – говорил потом батюшка, – не смог больше Илюша молчать, понял, что надо спасать заблудшую душу.

Потом думали, раз заговорил, то будет много говорить. Нет, Илюша растёт молчаливым. Хотя очень общительный, приветливый. У него незабываемый взгляд: он глядит и будто спрашивает – не тебя, а то, что есть в тебе и тебе даже самому неведомо. О чём спрашивает? Как отвечать?

«ЭТО ЖЕ ГОНКИ»

Внуки сидят за компьютером. Внук весь в игре.

– Трах! Бах! Бах! Уничтожен!

– Кого это ты уничтожаешь?

– Соперников. Гляди! Вот мой автомобиль зелёный, вот этот, видишь красный, надо догнать! Я его догоняю, обгоняю, я его левым бортом... Трах!

На экране красная машина вылетает за бортик, кувыркается, летит под откос. На экране надпись: «Уничтожен» и сумма очков.

– Но это же ужасно, ты убил человека.

– Дедушка, – говорит внучка, – это же гонки, тут же надо побеждать.

– А если бы это было в жизни?

– Но гонки же!

Им некогда со мной разговаривать: новая машина впереди, за поворотом. Надо догнать, надо уничтожить. Гонки же.

Нет, они меня не понимают. И не поймут. Я уже и сам ничего в этом не понимаю. И не хочу понимать.

ЛИСТ КУВШИНКИ

Человек я совершенно неприхотливый, могу есть и разнообразную китайскую или там грузинскую, японскую, арабскую пищу, или сытную русскую, а могу и вовсе на одной картошке сидеть, но вот вдруг, с годами, стал замечать, что мне очень безразлично, из какого я стакана пью, какой вилкой ем. Не люблю пластмассовую посуду дальних перелётов, но успокаиваю себя тем, что это по крайней мере гигиенично.

Возраст это, думаю я, или изыск интеллигентский? Не всё ли равно, из чего насыщаться, лишь бы насытиться. И уж тебе ли, это я себе, ви-

девшему крайние степени голода, думать о форме, в которой питьё или пища?

Не знаю, зачем зациклился вдруг на посуде. Красив фарфор, прекрасен хрусталь, сдержанно серебро, высокомерно золото, но, завали меня всем этим с головой, всё равно всё победит то лето, когда я любил библиотекаршу Валю, близорукую умную детдомовку, и тот день, когда мы шли вверх на нашей реке и хотели пить. А родники – вот они, под ногами. Я-то что, я хлопнул на грудь, приник к ледяной влаге, потом зачерпывал её ладошкой и предлагал возлюбленной.

– Нет, – сказала Валя, – я так не могу. Мне надо из чего-то.

И это «из чего-то» явилось. Я оглянулся – заводь, в которой цвели кувшинки, была под нами. Прыгнул под обрыв, прямо в ботиках и брюках брякнулся в воду, сорвал крупный лист кувшинки, вышел на берег, омыл лист в роднике, свернул его воронкой, поставил под струю, наполнил и преподнёс любимой.

Она напилась. И мы поцеловались.

Так что же такое посуда для питья и еды? Ой, не знаю. Не мучайте меня. Жизнь моя прошла, но не прошёл тот день. Родники и лист кувшинки. И мы под небом.

ПОДКОВА

Кузня, как называли кузницу, была настолько заманчивым местом, что по дороге на реку мы всегда застревали у неё. Теснились у порога, глядя, как голый по пояс молотобоец изворачивается всем телом, очерчивает молотом дугу под самой крышей и ахает по наковальне.

Кузнец, худой мужик в холщовом фартуке, был незаметен, пока не приводили ковать лошадей. Старые лошади заходили в станок сами. Кузнец брал лошадь за щётку, отрывал тонкую блестящую подкову, отбрасывал её в груды других, отработавших, чистил копыто, клал его себе на колено и прибывал новую подкову, толстую. Казалось, что лошади очень больно, но лошадь вела себя смирно, только вздрагивала.

Раз привели некованого горячего жеребца. Жеребец ударил кузнеца в грудь (но удачно – кузнец отскочил), выломал передний запор – здоровую жердь – и ускакал, звеня плохо прибитой подковой.

Пока его ловили, кузнец долго делал самокрутку. Сделал, достал щипцами из горна уголёк, прикурил.

– Дурак молодой, – сказал он, – от добра рвётся, пользы не понимает, куда он некованый? Людям на обувь подковки ставят, не то что. Верно? – весело спросил он.

Мы вздохнули. Кузнец сказал, что можно взять по подкове.

Мы взяли, и он погнал нас, потому что увидел, что ведут пойманного жеребца. Мы отошли и смотрели издали, а на следующий день снова вернулись.

– Ещё счастья захотели? – спросил кузнец.

Но мы пришли просто посмотреть. Мы так и сказали.

– Смотрите. За погляд денег не берут. Только чего без дела стоять. Давайте мехи качать.

Стукаясь лбами, мы уцепились за верёвку, потянули вниз. Горн осветился.

Это было счастье – увидеть, почувствовать и запомнить, как хрипло дышит порванный мех, как полоса железа равняется цветом с раскалёнными углями, как отлетает под ударами хрупкая окалина, как выгибает шею загнанный в станок конь, и знать, что все лошади в округе – рабочие и выездные – подкованы нашим знакомым кузнецом, мы его помощники, и он уже разрешает нам братья за молот.

КАТИНА БУКВА

Катя просила меня нарисовать букву, а сама не могла объяснить какую.

Я написал букву «К».

– Нет, – сказала Катя.

Букву «А». Опять нет.

«Т»? – Нет. «Я»? – Нет.

Она пыталась сама нарисовать, но не умела и переживала.

Тогда я крупно написал все буквы алфавита. Писал и спрашивал о каждой: эта?

Нет, Катининой буквы не было во всём алфавите.

– На что она похожа?

– На собачку.

Я нарисовал собачку.

– Такая буква?

– Нет. Она ещё похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолёт, и на небо, и на дерево, и на кошку...

– Но разве есть такая буква?

– Есть!

Долго я рисовал Катину букву, но всё не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым. Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква. Может быть, когда Катя вырастет, она её напишет.

ЗЕРКАЛО

Подсела цыганка.

– Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить.

Закурила. Курит неумело, глядит в глаза.

– Дай погадаю.

– Дальнюю дорогу?

– Нет, золотой. Смейёшься, не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили чёрной воды. Ты пойдёшь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.

– Нет денег.

– А казённые? Ай, какая нехорошая линия, девушка выше тебя ростом, тебя заколдовала.

– И казённых нет.

– Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живёшь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.

– Нет бумажных.

– Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади чёрные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи их под подушки, станут как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть.

Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.

– Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть: друга или врага?

– Врага.

Посмотрел я в зеркало и увидел себя. Засмеялась цыганка и пошла дальше. И остался я дурак дураком. Какая девушка? Какая чёрная вода, какая линия? При чём тут зеркало?..

В ЗАЛИВНЫХ ЛУГАХ

Поздней весной в заливных вятских лугах лежат озёра.

Дикие яблони, растущие по их берегам, цветут, и озёра весь день похожи на спокойный пожар.

Ближе к сенокосу под цветами нарождаются плоды. Красота становится лишней, цветы падают в своё отражение. И на воде ещё долго живут. Озёра лежат белые, подвенечные, а ночью вспоминается саван.

Падает роса. Лепестки, как корабли, везущие слёзы, покачиваются, касаясь друг друга.

Постепенно вода оседает, озёра уходят в подземные реки, И как будто лепестки вместе с ними.

Вода в вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами. Пьют эту воду кони и люди, птицы и звери, цветы и травы, даёт эта вода жизнь всему существу, всему живому.

Только мёртвым не нужна вода. Поэтому место для них выбирают на взгорьях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА СТОЛБАХ

Мальчик жил с родителями, а его родители жили немирно друг с другом, ссорились, дело шло к разводу.

Мальчик любил родителей и очень, до слёз, страдал от их ссор. Но и это их не вразумляло. Наедине с каждым, мальчик просил их помириться, но и отец и мать говорили друг о друге плохо, а мальчика старались завлечь на свою сторону. «Ты ещё не знаешь, какой он подлец», - говорила мать, а отец называл её дурой. А вскоре, уже и при нём, они всячески обзывали друг друга, не стесняясь в выражениях.

О размене их квартиры они говорили как о деле решённом. Оба уверяли, что мальчик ни в чём не пострадает: как была у него тут отдельная комната, так и будет. С кем бы он ни жил. И что он всегда сможет ходить к любому из них. Они найдут варианты размена в своём районе, не станут обращаться в газету, а расклеят объявления сами, на близлежащих улицах. Однажды вечером мать пришла с работы, и принесла стопку жёлтых листочков с напечатанными на них объявлениями о размене квартиры. Велела отцу немедленно идти их расклеивать. И клей вручила, и кисточку.

Отец тут же надёрнул плащ, схватил берет и вышел.

– А ты – спать! – закричала мать на сына.

Они жили на первом этаже. Мальчик ушёл в свою комнату, открыл окно, и тихонько вылез. И как был, в одной рубашке, побежал за отцом, но не стал уговаривать его не расклеивать объявления, он понимал, что отец не слушает, а крался, прячась, сзади и следил. Замечал, на каком столбе или заборе, или на остановке отец прилеплял жёлтые бумажки, выжидал время, подбегал к ним и срывал. С ненавистью комкал объявления, рвал, швырял в урны, топтал ногами, как какого-то гада, или бросал в лужи книзу текстом. Чтоб никто даже и не смог прочесть объявления.

Так же незаметно вернулся в дом. Наутро затемпературил, кашлял. С ним родители сидели по очереди. Он заметил, что они перестали ругаться. Когда звонил телефон, снимали трубку, ожидая, что будут спрашивать о размене квартиры. Но нет, никто не спрашивал.

Мальчик специально не принимал лекарства, прятал их, а потом выбрасывал. Но всё равно через неделю температура выровнялась, врачиха сказала, что завтра можно в школу.

Он подождал вечером, когда родители уснут, разделся до майки и трусов и открыл окно. И стоял на сквозняке. Так долго, что сквозняк и они почувствовали. Первой что-то заподозрила мама и пришла в комнату сына. Закричала отца. Мальчику стало плохо. Он рвался и кричал, что всё равно будет болеть, что пусть умрёт, но не надо разменивать квартиру, не надо расходиться. Его прямо било в приступе рыданий.

– Вам никто не позвонит! – кричал он. – Я всё равно сорву все объявления! Зачем вы так? Зачем? Тогда зачем я у вас? Тогда вы всё ввали,

да? Врали, что будет сестричка, что в деревню все вместе поедem, врали? Эх вы!

И вот тогда только его родители что-то поняли.

Но дальше я не знаю. Не знаю, и врать не хочу. Но то, что маленький отрок был умнее своих родителей, это точно. Ведь сходились они по любви, ведь такой умный и красивый сын не мог быть рождён не по любви. Если что-то потом и произошло у них в отношениях, это же было не смертельно. Если уж даже Сам Господь прощает грехи, то почему мы не можем прощать друг другу обиды? Особенно ради детей.

БОЧКА

Вспоминаю и жалею дубовую бочку. Она могла бы ещё служить и служить, но стали жить лучше, и бочка стала не нужна. А тогда, когда она появилась, мы въехали не только в кооператив, но и в долги. Жили бедно. Готовясь к зиме, решили насолить капусты, а хранить на балконе. Нам помогли купить (и очень недорого) бочку для засолки. Большую. И десять лет подряд мы насаливали по целой бочке капусты.

Ежегодно осенью были хорошие дни засолки. Накануне мы с женой завозили кочаны, мыли и тёрли морковь, доставали перец-горошек, крупную серую соль. Приходила тёща. Дети помогали. К вечеру бочка была полной, а уже под утро начинала довольно урчать и выделять сок. Сок мы счерпывали, а потом, когда капуста учереждалась, лили обратно. Капусту протыкали специальной ореховой палочкой. Через три-четыре дня бочка переставала ворчать, её тащили на балкон. Там укрывали стёгаными чехлами, сшитыми бабушкой жены Надеждой Карповной, мир её праху, закрывали крышкой, пригнетали специальным большим камнем. И капуста прекрасно сохранялась. Зимой это было первое кушанье. Очень её нам хвалили. В первые годы капуста кончалась к женскому дню, потом дно заскремали позднее, в апреле. Стали охотно дарить капусту родным и близким. Потом как-то капуста дожила до первой зелени, до тепла, и хотя сохранилась, но перестала хрустеть. Потом, на следующий год, остатки её закисли.

Лето бочка переживала с трудом, рассыхалась, обручи ржавели, дно трескалось. Но молодец она была! Осенью за неделю до засолки притащишь её в ванную, чуть ли не по частям, подколотишь обручи и ставишь размокать. А щели меж клёпками – по пальцу, и кажется, никогда не восстановится бочка. Нет, проходили сутки, бочка крепла, оживала. Её ошпаривали кипятком, мыли с полыньёю, сушили, потом клали мяту или эвкалиптовых листьев и снова заливали кипятком. Плотно закрывали. Потом запах дубовых красных плашек и свежести долго стоял в доме.

Последние два года капуста и вовсе почти пропала, и не от плохого засола, засол у нас исключительный, но не елась она как-то, дарить ста-

ло некому, питание вроде улучшилось, на рынке стали бывать...

Следующей осенью и вовсе не засолили. Оправдали себя тем, что кто-то болел, а кто-то был в командировке. Потом не засолили сознательно, кому её есть, наелись. Всё равно пропадёт. Да и решили, что бочка пропала. У неё и клёпки рассыпались. Но я подумал, вдруг оживёт. Собрал бочку, подколотил обручи, поставил под воду. Трое суток оживала бочка, и ожила. Мы спрашивали знакомых, нужна, может, кому. Ведь дубовая, ещё сто лет прослужит.

Бочка ждала нового хозяина на балконе. Осень была тёплая, бочка вновь разохлась. Чего она стоит, только место занимает, решили мы, и я вынес бочку на улицу. Поставил её, но не к мусорным бакам, а отдельно, показывая тем самым, что бочка вынесена не на выброс, что ещё хорошая. Из окна потом видел, что к бочке подходили, смотрели, но почему-то не брали. Потом бочку разбили мальчишки, сделав из неё ограду для крепости. Так и окончила жизнь наша кормилица. На балконе теперь пусто и печально.

У КАЖДОГО СЫНА РОССИИ ЧЕТЫРЕ МАТЕРИ

Когда оглядываешься на прошедшее двадцатилетие, убеждаешься в верности предсказаний старцев о России – она бессмертна. Любое другое государство не вынесло бы и десятой доли испытаний, выдержанных нашим Отечеством. В чём секрет? Он в отношении к земле. Самое мерзкое, что принесла демократия в Россию – это навязывание нового отношения к земле. Земля как территория, с которой собирают урожаи, земля как предмет купли и продажи, и только. Нет, господа хорошие, земля в России зовётся Родиной. Из земли мы пришли на белый свет, в землю же и уйдём, в жизнь вечную.

Как былинные богатыри, слабея в битве, припадали к груди Матери – сырой земли, так и в наше время, она даст силы. Но только тем, кто любит её. И это главное условие победы – любовь к земле. Земля – Божие достояние. Совсем неслучайно, что самые большие просторы планеты, самые богатые недра, самые чистые воды были подарены именно России. И нынешние испытания посылаются нам, чтобы мы оправдали надежды, на нас возложенные.

У нас нет запасной родины. Нам здесь жить, здесь умирать. У нас нет двойного гражданства. Ни за какие заслуги, просто так, мы получили в наследство величайшую родину, необычайной силы язык, на котором говорят с Богом, у нас ведущая в мире литература, философия, искусство. Надо доказать, что мы имеем право на такое наследство. Что именно мы, а не варяги нового времени, хозяева этого наследства.

Что бы там ни болтали о своей значительности большие и маленькие вожди, колесо истории вращают не языком, а трудовыми руками. Человек на земле – главное лицо каждой эпохи. Он кормитель и поитель

всех живущих, и отношение к нему должно быть соответственным. Он не пролетарий, которому теперь уже окончательно нечего терять. Пролетарии в своё время добились революций и переворотов, а в наше время за это на них наплевали с высокого дерева, называемого новым мировым порядком. Теперь пробуют плевать и на крестьянство, прикрываясь трескотнёй фраз о любви к земледельцам. Если бы так, не кормили бы нас заграничной мерзостью, суррогатами – заменителями пищи.

Неужели ещё кто-то верит медведю в демократическом зоопарке, что он свергнул прежнюю партию коммунистов ради счастья народно-го? Единороссы стремительно занимают место КПСС в СССР. Уже и для карьеры чиновники бегут в неё. Теперешняя правящая партия не давит идеологией (у неё её нет), но гораздо изощрённее издевается над народом. Цены на хлеб растут, а хлеборобы живут всё хуже и хуже. Жить всё тяжелее и тревожнее, а барабанный бой, славящий реформы, усиливается. Смертность превышает рождаемость, пенсионеры – люди, угробившие ради государства своё здоровье, становятся для него балластом, наркомания, преступность, проституция внедряются в сознание как норма при создании видимости борьбы с ними. И всё это покрывается жеребьячьим ржанием жванойдов сильно голубого экрана. Образование готовит англоязычных биороботов, легко превращаемых в голосующую биомассу, в зомбированный либералами электорат. И на всё это смотреть? И с этим смиряться?

У них деньги, у нас любовь к родной земле, и нас не купишь. Другой жизни у нас не будет. А отчёт за свою единственную жизнь придётся держать каждому.

Четыре матери у нас: та, которая родила, мать – сыра земля, Божия Мать и Россия. Мы их сыновья и каждый из нас единственный и любимый. Они не оставят нас ни в каких испытаниях. Имея таких Заступников, кого нам бояться? Ты любишь Россию? Значит, ты стоишь на поле боя за неё. Да, твоё место – это поле боя. С поля боя первыми бегут наёмники, которые сейчас зашевелились, чуя наживу. Они мгновенно струсят, как только почувствуют нашу силу. А она от нас никуда не ушла, даже копилась.

Теперешнее поле боя – Русское поле. Слово Поле уже подразумевает место схватки. Нельзя же, чтобы на русском поле продолжали расти сорняки.

Окончание следует.

АЛЕВТИНА САГИРОВА

ТАЛЫЕ ВОДЫ – СЛЁЗЫ ЗИМЫ

ГРУСТНОЕ

Моим друзьям

Приустав от дождика-зануды,
Мы теплыни крикнули: «Постой!»
И вернулось лето, словно чудо,
Только – с пожелтевшею листвою.
Солнце обогрело напоследок
Воздух и пожухлую траву,
В речку опрокинуло с разбега
Неба молодую синеву.
...Холодком туманы наплывают
Из весёлой дали без конца.
Почему же грусть не покидает
Сентябрём задетые сердца?
Может, им припомнились другие
Позолотой тронутые дни,
Канувшие в Лету, дорогие,
Где теперь скитаются они?
Мимо нас проходят незаметны,
Души не встревожив, не согрев,
Что-то шепчут над закатом медным,
Руки беззащитные воздев.
Яблоками спелыми минуты
Прячет осень, в травы укатив,
И печалит сердце почему-то
Песни ускользящий мотив.

Сагирова Алевтина Александровна родилась в 1954 году в Кировской области. Автор 4 поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в п. Советский.

* * *

Чуешь, радость моя,
Как пропахло предательством время
И в заздравных бокалах
Ощутимее привкус беды.
Эх, вскочить бы в седло! –
Кем-то ловко подрезано стремя,
Полной грудью вздохнуть, –
Кто-то словом ударил под дых.

Видишь, радость моя,
Что порядочность нынче не в моде,
Благородство – смешно,
Но зато лицемерье в цене.
Достигают вершин,
Прикрываясь любовью к народу,
Предавая друзей
В самый горький и тяжкий из дней.

Знаешь, радость моя,
Звёзды в небе ещё не погасли,
А закончится ночь –
Крылья ало раскинет рассвет,
И другая в душе
Начертается формула счастья,
И судьбы поворот,
За которым предательства нет.

* * *

Мы живём припеваючи
Каждый на своей территории,
Читаем разные книжки,
Ездим в разные города.
Белые-белые пятна
В нашей с тобой истории
Пусть остаются белыми
На-все-гда.

БАЛЛАДА О НЕЧАЯННОЙ ВСТРЕЧЕ

Они друг друга в юности любили,
Но не сбылось, не вышло, не срослось.
Какой то дикой центробежной силой
Их разметало, бросило поврозь.
Прожили жизнь ни горячо, ни сладко,
Детей растили, нянчили внучат,
И, вспоминая прошлое украдкой,
Приказывали сердцу замолчать.
Десятки лет судьба их не сводила,
Как им жилось – об этом ни гу-гу,
И лишь однажды оказала милость:
Свела их вместе в дружеском кругу.
Погасшая, усталая, без грима,
Она стояла тихо у окна.
Прекрасный образ, памятью хранимый,
Кричал ему: «Нет, это не она!»
С каким-то странным внутренним испугом
Поняв внезапно: встрече он не рад,
Поднёс к губам протянутую руку,
Вдохнул духов забытый аромат...
Исчезло вдруг трёхмерное пространство
И где-то, в измерении другом,
Он, выйдя вон из тягостного транса,
В душе опять почувствовал огонь.
Под толщею житейских наслоений
Он не зачах, но теплился едва.
И вот – ожил, и за одно мгновенье
Затрепетал, занялся, запылал.
Глаза, теплея, встретились с глазами,
Её глазами в сеточке морщин,
И обо всём без слов сказали сами –
Глаза, известно, зеркало души.
...Мне это в память врезалось навеки:
Квадрат окна мерцающий, а в нём
Два пожилых счастливых человека,
Светящихся божественным огнём.

* * *

Куст герани на окне,
Суп на медленном огне,
Чашка чая, круассан,
Телевизор, плед, диван,
На коленях сытый кот...
Жизнь проходит...
И пройдёт?

* * *

Снова зимний закат,
Как река за вершинами елей,
Вся в холодном огне
Снегириного цвета река.
Тихо ели стоят
В ожидании крещенской купели
На темнеющих синью
Морозных её берегах.
Я смотрю и смотрю,
Как ещё один день угасает,
Как красиво уходит
За снежное поле и лес,
Словно кто-то невидимый
Книгу природы листает,
Словно любящий кто-то
Глядит на планету с небес...

* * *

По лужам апрельским беспечно шагаем,
Безбрежную радостью сердце размыв,
Но понимаем, всегда понимаем:
Талые воды – слёзы зимы.
Может быть, грусть на порог не пускаем,
Может быть, счастьем обласканы мы,
Но понимаем, всегда понимаем,
В реках проснувшихся – слёзы зимы.
В юных мечтах далеко улетаем,
Можем порою до солнышка взмыть,
Но замечаем, всегда замечаем
Старость чужую как слёзы зимы.

* * *

На покой в душе надежда мизерна:
С вечера до первых петухов
Сквернословят в доме телевизоры
Сотнями канальных языков.
Не разжиться чувствами красивыми,
Если от зари и до зари
Наполняют комнаты насильники,
Шлюхи, колдуны и упыри.
Нет в семье бесед душеспасительных:
Мама смотрит новый сериал,
Папа – триллер с жуткими убийствами,
Гарри Потер чад околдовал.
Ночь зажгла на улицах фонарики,
В детской, наконец-то, тишина...
Дети спят и смотрят сны-кошмарики,
Богатеет психами страна.

* * *

Всё прозрачнее платяя берёз –
Не согреться им, дрожь не унять.
Дождь и ветер. Погода – в разнос,
Это осень явилась опять.
Королевна, девица-краса,
Поначалу щедра на дары,
Зазывала в сады и леса,
Всё, что хочешь, - шептала, - бери!
Летних птиц собирала в полёт,
Проводив, куролесила всласть,
А потом обнищала – и вот
В безысходности в крик сорвалась,
Слёзы выплавав, сердцем смирясь,
Все наряды свои износив,
Босиком в непогоду и грязь
Побрела подаянье просить.
Был в туманах и мгле окоём,
Не сулил ни тепла, ни чудес,
На озябшие руки её
Лишь снежинки летели с небес.

* * *

Отпущу по воде радость светлую,
Пусть по миру течёт – разливается,
И в купели той в пору рассветную
Солнце радостью пусть умывается
И встаёт над полями, над рощами,
Чтоб в улыбке – на капельки горести,
Чтобы черпали радость пригоршнями
Все, живущие в мире по совести.
Ну, а тот, кто обидами мается,
Чахнет духом от злости да зависти,
В море радости пусть искупается,
Для болящего жалко ли радости?
Упадёт одежонка истлевшая,
«Слава Богу за всё!» - сердце вымолвит,
Встрепенётся душа посветлевшая
И любви, как спасения, вымолит.

* * *

С макушки лета я скатилась в август,
Его сады, янтарные меды,
В глубины слова радостного «Здравствуй!»,
В прохладу рек, в отсутствие беды.
Сверкнув росой на паутинке тонкой,
Сыграет он симфонию с листа
И уведёт за руку, как ребёнка,
В грибные заповедные места.
Научит щедрой быть и быть любимой
Как хлеб и песня, солнце и вода,
Смеясь нарядит в бусы из рябины
На день один, а словно – навсегда.
Измажет щёки мне арбузным соком,
Над временем шутя подарит власть,
И в детство озорное ненароком
Позволит на минуточку попасть.
...Когда земные страсти приумолкнут,
Как хорошо послушать песни ос
И спелый терн отведав, вспомнить смоквы,
Которые в пути срывал Христос.

* * *

Приснилась ночью мама. Это значит,
Осенний дождь по ней с утра заплачет,
Глотая слёзы, вдруг тропинка всхлипнет,
Рябина бусы алые рассыплет.
Я эти знаки сердцем принимаю,
Что мама ТАМ жива, я точно знаю,
Как только дождик плакать перестанет,
Её глазами небо в душу глянет.
Она жила как все – в земных заботах,
Но доброта была души оплотом.
И на полмира, если б что случилось,
Её любви и милости хватило.

СЕРГЕЙ ШЕЛЕПОВ

ПРОЩАНИЕ С ЕЛЕНКОЙ*

Повесть

Мы возвращались с реки. Без рыбы, конечно – какая тут рыбалка, какой улов... Лодку резиновую я нёс на плече, подсунув руку под вставное деревянное сиденье. Ещё снасти в лодке лежали. Вся эта тяжесть клонила меня к земле и выворачивала штопором. Боковой ветер, ударяясь в лодку, усугублял экзекуцию. Но самым главным неудобством было то, что не мог видеть идущую рядом Ленушку. Я теперь только так и называл её. Правда, вслух пока на такой лад не произносил имя дорогое. Лишь в мыслях крутилось оно и улаживало слух неслышным благозвучьем.

Да как можно назвать её так, окликнуть тихо, коли глаз её не видишь, коли крутит тебя тяжесть поклажи!

Я слышу Ленушкин голос, но отвечать боюсь. Всё кажется, что слова мои, и без того крючковые-сучковые, ещё и кряхтеньем усугублённые, неуместными покажутся – пусть даже не Ленушке, мне, и буду чувствовать себя от того ущемлённым. Мне же хочется распрямиться, освободиться от притяженья земного слегка. Да и прочие тягости стряхнуть с себя, позабыть о них, хотя б на время.

Хочу, чтоб со вчерашнего дня всё летоисчисление для меня сызнава потекло. С того самого момента, когда в низеньком парнишке вдруг её узрел, Лену, с которой и, не простившись, расстался, и позабыть которую пробовал, чтоб связать свою дальнейшую жизнь с одной из здешних молодых вдовиц.

Благо – позади всё: сомнения, неверие, терзанья ночные. Вот она Ленушка моя – рядом.

Сбрось поклажу... Возьми за плечи, за руки - не оттолкнёт, не исчезнет - как во снах или виденьях. Всё наяву.

Бросаю я лодку тяжеленную, только сбрыкали причиндалы рыбацкие; хрюкнула недовольно, шмякнувшись о землю, обиженная и ненужной вдруг сделавшаяся главная утварь рыболова – ковчежишко-ладеюшка его.

* Является продолжением повести "А по полю жнивьё" ("Литера" №3, 2012)

«Ну уж, прости, – покаянной мыслью на краткий миг тревожу себя – подруга моя зелёная. Полежи покуда на земелюшке, руками-веселками о траву луговую обопрясь. Мне же на Ленушку глянуть надо. Слово ей важное сказать, какое – не знаю...»

Потому смотрю и молчу... Молчу и смотрю. И стоим друг пред другом. Глаза за нас говорят всё. Мысли текут-пересекаются полем неземным, нереальным, нефизическим. Однако силовые линии его крепче электромагнитных, а притяжение в них сильнее гравитационного.

Засмеялась Ленушка, глаза потупив. А на мгновенье раньше я свои отвел. Всё взгляды сказали...

– Устал? – спросила.

– Соскучился.

– Как? Я же рядом вот... – игривый тон Ленушкин сладок мне.

– И рядом, но соскучился. Вон какую поклажу пёр... – и вдруг, спохватаясь будто, ору: – Поклажу... Нет, не ту, – подхватываю Ленушку на руки и несу. Прямо к деревне, к дому. Через луг, мимо баньки...

А она легка. Шею мне обвила руками. Голова к плечу приткнулась. Запах волос её, с запахами трав мешаясь, дурманом в голову шибает.

В дом бы занёс Ленушку, но калитка на вертушку закрыта, никак руку не подсунуть между тычинами забора.

Сожалею, что всё это блаженство кончается. Но в дом, за руки взявшись, входим...

Валяются посреди луга лодка и «экраны» сиротливой кочкой. По траве молодой от кочки той след промят стежком кривым. И ветер весенний, и солнце полуденное, и жаворонок далёкий в поле, – всё будто радуется, всё живёт весной и любовью. Май – медовый наш месяц... Медовуха любовная через край...

И вдруг (покурить вышел) ворона чёрная или ворон (шут их, пернатых, разберёт) на засохшем стволе-отростке вскаркнул. Глянул вверх, небо на миг тёмным сделалось, будто тучей грозовой подёрнулось. Миг всего и опять солнце вспыхнуло в призенитье, синевой бездна небесная разметнулась. Радость от происходящего вернулась. Но в миг затмения какой то кадр чёрно-белый промелькнул в мыслях. Не ворон уже, а судья в мантии. Да ещё и криками оглашает приговор.

– Смертная казнь... Пятнадцать лет... Пятнадцать лет... Но сначала казнь... – вспомнился сон, уже давний и бессмысленный. Надо ж такое привиделось – сперва казнь, а после каторга! Ещё и запомнилась эта несуразица да нет-нет и всплывает в мыслях.

Фу... Чертовщина... Каркает ворон и пусть каркает. Он и голосами человеческими орать может – но ведь не с ума. Потому: пусть вещает, сколько влезет... Мне-то что... Если она уже здесь... Если вместе мы... Навек это, навек...

Вернулся в дом. Ленушка в халатике по избе порхала перед зеркалом старинным, в деревянную резную раму оформленным. Отшелуши-

лась местами уже отражательная плёнка.

Но в этом зеркале ещё краше Ленушка моя. Во весь рост: и наяву, и в зазеркалье. И сам рядом – мурло лохматое-бородатое. Глаза вижу наши: одинаково тёмные почему-то – знать оттого, что окна маленькие в избе, свету мало через них проходит...

– Анися, этот халат мне ты подарил...

– Как?! – не понял и удивился очень. Подумал, что уж и венчаны перед Богом, а подарков никаких не преподносил, даже цветов полевых-луговых надрать не догадался. Ну не пентюх ли?..

– Мне, когда адрес твой дали в военкомате, ночью приснилось, что халат подарил ты красивый-красивый. Я его надела и к зеркалу подошла. Но разглядеть толком его не успела, проснулась. А днём зашла в магазин, вижу: тот самый халат висит, который приснился. Пока ты ходил курить, я его достала и примериваю вот. До этого даже не прикидывала, велик или мал. Оказалось, в самый раз. Спасибо...

Только лопоухим, как я, такой фарт. Еще б печка сама ездилась и топилась...

Последнее слово успело ещё в мозгу частушкой прокрутиться дурацкой:

Топится, топится в огороде баня.

Топится, топится в нашей речке Ваня...

А тут и ответ приспел:

– Ну, не чё себе... Он тебе и впрямь хорош... Но к нему ещё кое-что надо...

Вспомнил, что от мамы серёжки остались простенькие, но золотые и старинные. У баушки Лизы они хранились, куда дом заколочен был. Вспомнил про них. На улицу выскочил, как ошпаренный. Даже не подумал: золотые серёжки не к халату дарятся, а к платью вечернему либо еще к одежке какой нарядной. Но мы люди тёмные, как говорилось, пеньку молимся – что с нас взять, кроме нас самих...

К баушке Лизе, как ураган, влетел.

– Баб Лиз, а где серёжки мамины?

– Слышь, дед... Я ведь правду сказала, сёдня и примчится за ими. Вон, на комод впереди (в смысле, в горнице, в передней комнате) лежат приготовлены...

– Всё наскрозь видит... Вот баба окаянная... – бухтит себе под нос дедко.

– Я-то окаянная?

Но мне некогда их перебранку дослушивать, лечу обратно красить красу свою. О, ё-моё, как она красива, моя Ленушка... Но почему чёрные молнии нет-нет да и сверкают в мозгу...

Жизнь от медовой сладости медленно, с неохотой, упрямясь надвигающейся обыденности, вспыхивая сполохами умиротворяющейся страсти, стала обретать некую направленность и ограниченность, но не ту ограниченность, сравнимую с ущербностью какой-либо, а ту, смысл которой заключается в некоем спокойствии, когда принимается свершившееся, как неизбежная данность – неколебимая и навек.

Я продолжал приводить дом в порядок, как бы извиняясь и навёрстывая за создавшееся запустение из-за долгого моего отсутствия в отчем жилище и, конечно, лености, порождённой глупой тоской, сжиравшей меня весь прошедший год. А как было б здорово встретить Ленушку в ухоженном и отделанном доме...

Первым делом занялся крыльчком. Соорудил перильца струганные – гладкие и чистые, к которым рука тянулась не только для того, чтоб опору ощутить при входе или выходе из избы, но и потому, что узорчатая вязь древесины завораживала глаз немудрёной изысканностью природного художества, лишь слегка доведённого до нехитрого изящества человеческой рукой и рубанком со шкуркой.

Вслед за крыльцом соорудил и лавочку под окном, как и заведено было исстари. Оттуда же шло и то, что каждый мастерил эту лавочку на свой манер: кто уже, кто шире; кто короче, чтоб сидеть на ней одному либо вдвоём; кто, наоборот, делал ее подлиннее, чтоб могли и соседи присесть, и, чтоб беседе длиться и длиться, чтоб в какой из вечеров и гармонь могла разместиться среди сидящих, вдохновляя их или на частушку весёлую, или на «калинушку-рябинушку» грустную. У меня же не было особого выбора: чтоб мы с Ленушкой поместиться могли, на всходящую луну или звезду Венеру тёплыми вечерами поглазеть. И ещё необходимо было учесть – вдруг дед Степан выползет по табачной надобности да с «голубками покалякать». Значит, следовало сладить ещё одно местечко для столь желанного словоблуда – кружевника словесной извивотины, раскрашенной во все цвета возможных и невозможных диалектных особенностей, одобренных в свою очередь полуматерными словами - как «чубайс» или «ельцин»...

И лишь последний штрих в моем деревянном лавочно-скамеечном «зодчестве очерчен был; ладонь лишь доскользила до края лавочки; лишь собрался отступить шаг назад, чтоб издали оценить рукотворение своё, а уж глядь – скрипнула-поползла соседская калитка. Затем встала, будто в оцепенении, поперёк улицы слегка нараскоряку, по забулдыжному завалившись верхом своим, так как висела не на петлях металлических, а на резиновых ошмётках от мотоциклетной шины. Лишь успел подумать о тех, кто будет сидеть на скамеечке, а уж всклочённая борода деда да плешь его, редкими седыми волосёнками одобренная, мелькнули на соседнем крыльце. И ещё улыбка деда Степана – ехидно-добродушная и «дедушко-ленинским» лукавством оттенённая, будто нависла надо мной. А тут и заработал дедов «огнемёт».

– Вот и славненько, Анисимушко... Вот и славно. Давненько я не сживал на лавочке ни с кем. А тут те и лавка стругана, и голубков пара. Ужо, покалякаю на старости лет о том-сём...

Про что я успел едва подумать, в жизнь мигом воплотилось. Бухнулся дед мосластым задом своим, поелозил туда-сюда – гладка ли досочка. Затем вновь приподнял курдючишко свой над скамейкой и об лавку им шибанулся (я не за доску испугался – не поломал бы дед от усердия кости свои гремучие).

– Баска... Ох, баска... Глядишь и мы с Лизаветой когда вечерком на ней поворкуем-полюбезничаем...

Тут, в соответствии с тем, что иголка за ниткой не ходит и, наоборот, нитка за иголкой, появилась баушка Лиза, смутив своим явлением деда, отчего тот лицом сник.

И далее последовала проповедь о том, как дед ездил в райцентр, где пропьянствовал неизвестное время: про шлюх тамошних, вскруживших «дурню» голову – обобрали, объели, обпили...

В финале действия полная капитуляция, пленение и позорное шествие «старого шаромыги» в обратном направлении к калитке, которая с великим жалостливым скрипом заняла свое подобающее положение, и, упершись верхом своим в столб, за который цеплялся с обратной стороны крючок-запор, выправилась и уже не напоминала ничего забулдыжного. С соседского двора ещё какое-то время слышались стихающие раскаты «грома», удаляющейся будто «грозы».

Но меня эти сполохи семейной грозы-перевалы не интересовали, так как на лавочке уже сидела Ленушка в цветастом халате с золотыми серёжками в ушах. Глядела на меня и улыбалась. Мне улыбалась...

Труднее всего пришлось с наличниками. На фоне почерневших брёвен белые (какими они бывали обычно раньше) наличники казались вызывающими да и неуместными, как мне казалось, среди всего творящегося (точнее, не «творящегося» – какое уж тут творчество) – растекающегося и всепоглощающего запустения. Из других цветов более всего напрашивался голубой: и невызывающий, как белый, и в то же время не затемнял внутренность избы. Но что-то удерживало и от голубого. О других цветах не думалось и вовсе. Кроме золотого – цвета Ленушкиных волос. Но, чтоб в золотистый, жёлтый цвет наличники покрасить, такого не бывало. А коли случилось бы такое, то непременно стало такое нововведение предметом сельской сатиры. И уж в ближайшее время говорили б про мой дом, что он с поносными наличниками и не иначе. А то и позлей что-нибудь придумали бы деревенские юмористы...

Решение нашлось, как нечто среднее: голубые наличники, а по периметру некие шаблонные рисунки золотистого цвета, напоминающие колосья – над ними-то, подумалось, смеяться не станут.

С другой стороны: многие ли, вообще, наличники красивыми да резными ладят на окна свои? Какие-то доски наколотят незамысловатым прямоугольником с двумя рёбрышками либо канавками по периметру, и вся затейность на этом кончается. Уходит красота из жизни, а следом и сама жизнь...

Ну и мысли в голову лезут. И как им не лезть, коли видится сплошная безнадёга вокруг. Одна надежда на Бога. Да где Он? Почему так безучастен? Но, видимо, Русь наша не его забота. А Богородицы-заступницы. И вся надежда на то, что в очередной раз бабы и спасут страну от полнейшего запустения. Иго, вон, хаяли-ругали, а что выяснилось? Иго-то игом, а сколько знатных и героических родов пошло от брачья и безбрачья с ордынцами наших баб? Восточной мудрости добавили наши бабы, стати и силы, бесшабашности и удалства, доброты и благородства, ума и уменья, веры и помыслов, что согласны «Заповедям...». А результат таков – «иго» прогнали, страна вширь раздалась и силой на шестьсот лет необоримой напиталась...

Не сельская жительница Ленушка, однако ж, не чувствовала себя чужой. Может, оттого, что попала под нежнейшую опеку бабы Лизы. Ещё виделось: пока только первые впечатления – впечатления отпускнуницы-дачницы, которая раз в год вырывается из шумного города на «лоно природы», но со временем это пройдёт, как в известной басне про стрекозу.

Я понимал это, но что предпринять против наплывающей дымки предзимней грусти, не знал. Ведь и сам я не почитал осеннюю слякоть, серость и увядание. Меня даже зеленеющиеся травой луга повергали в уныние, так как была в этой зелени какая-то изумрудно-кристальная безжизненность и обречённость, как вызов самоубийцы...

И ещё одно не давало мне покоя, давило неотступной виной: это Саша – сын Лены. Ведь Ленушка и ему принадлежала, как мать, не меньше, чем мне.

Осенью он пойдёт уже в школу, во второй класс. И будет парню очень обидно, если мама не подготовит его к школе, не проводит добрым напутствием первого сентября.

Ленушка, понятное дело, тоже ломала голову над этим. Решения задачи не виделось, и мы покуда молчали, полагаясь на время и «чего-нибудь».

Почти каждую неделю, когда бывали в городе, Лена звонила Саше и маме своей. Днём, однако, застать их было трудно дома. А, если и оказывались они в какой день не на даче, то разговор их явно не клеился.

Пару раз Ленушка пыталась позвать Сашу на лето к нам. Говорила, как здесь хорошо: много ягод и грибов; в реке ловится рыба, а у дяди Анисима есть лодка, на которой бы он покатал Сашу всенепременно. Саша от предложения такого обычно отказывался и передавал трубку бабушке.

Нина Петровна, помня случившееся прошлым летом несчастье, ни словом, ни полусловом не намекала на то, чтоб Лена всё здесь бросила и ехала к ним. Лицемерить и восхищаться нашим счастьем-жизнью она, видимо, не хотела и не могла. Недовольства также не высказывала, отвечая на все вопросы односложно и кратко, практически не задавая своих. Ленушку это мучило. Она надолго впадала в задумчивость и какую-то отрешённость, из которой вывести её могла только баушка Лиза. Как ей это удавалось, уму непостижимо. Простые слова, советы, как будто кому-то неизвестному, взгляд изучающе-поддерживающий – и всё.

Я вроде те же слова произносил, чтоб оживить свою невестушку-женушку; нежностью своей неуклюжей отгонять кручину пытался. Всё безуспешно. Видимо, были в моих действиях и словах какие-то скрываемые даже от самого себя интонации фальши. Простого и, пожалуй, сложного решения описанной проблемы просто не существовало. Только время могло как-то растолкать всех по своим местам и соединить меж собой невидимыми нитями, либо рассоединить напрочь.

Оглядываясь на те дни, на то счастливое лето, могу точно сказать, что ангелом-хранителем нашей безмятежности и любви на Земле была баушка Лиза.

Своих детей у них с дедом не было. Как-то дед обмолвился, что застудился он на войне. Может, и в другом причина, да разве это важно. Потому всю привязанность, которая заложена природой в баушке Лизе к детям и внукам, нерастраченная вследствие огромности своей на единственное «чадо горемычное» деда Степана, излилась на нас, но больше на Ленушку – она и впрямь казалась не то дитём, не то внучкой. Всё ей виделось дивным и сказочным: что козье войско баушки; что наряды, хранящиеся в сундуках, оставшихся от мамы, а той, в свою очередь, от своей матушки.

И сама «клеть», где находились сказочные богатства, виделась ей, верно, сокровищницей былинной княжны. В сундуки моих родительницы и прародительниц, я не заглядывал с давних детских пор, когда живы были ещё и мама и бабушка. Тогда на этих сундуках висели старинные замки с замысловатыми ключами, висевшими почти рядом – вернись в сенцы, а там прямо над дверью в клеть есть в бревне потаённая вырубка. В ней и хранились заветные ключики. В сундуках под кучей старинных нарядов и каких-то отрезков полотна – самотканого и магазинного, в старинных баночках из-под монпансье хранились баушкины запасы – самые дешёвые конфеты-«подушечки», какие-то бусы-ожерелья, жалкая медная мелочь – загатные крохи от двенадцатирублёвой колхозной пенсии на какие-то нужды крайние и прочие мелкие безделушки. Каюсь, потрошил я слегка загатники сундучные: то конфет пару-тройку умыкну, то грошики малые ополовиню. Грех невелик. Вроде того, что красть нельзя, но у государства (первейшего российского вора)

можно и даже почётно. Однако же грех грехом и остался, не становясь от того менее значимым, исходя из принципа «полубеременности» – она или есть или нет вовсе...

И вот спустя почти тридцать лет снова открываю старые сундуки. Уже не тем воришкой малолетним, а полноправным наследником и хозяином всех богатств. Нафталиновый дух сундуков, видимо, поселившись однажды, навечно прижился, подобно известному джину в бутылке, под деревянными крышками. Открыв сундуки и положив замки от них рядом, я ушёл. Ленушка осталась одна с открывшимися ей дивными нарядами и чудными вещицами.

Чем я занимался в последующие два часа, не помню. Кажется, с дедом Степаном обсуждали «текущий момент». Сидели мы с ним на их крылечке и так увлеклись разговором, что не сразу обратили внимания на разодетую, как в краеведческом музее, в старинные наряды с вёдрами на коромысле девку-«феклушку». Когда же она вторглась как бы в ауру нашей «политбеседы», первое, о чём мне и подумалось – именно краеведческий музей. После этого мысли мои обратились к подзабытому семейному преданию, что первую жену моего прадеда убило молнией в первый год их семейной жизни. Даже представилось поле волнами гуляющее под порывами предгрозового беснующегося ветра; одинокое дерево посреди поля того, над которым висит сине-чёрная глыбища небесного исполина, приготовившегося сразить невинную перепуганную девушку... Дед тоже обратил внимание на появившуюся девку. Конечно, это была Ленушка. Но на деда произвело её появление такое впечатление, что он глаза вытаращил, рот разинул. Наконец, слова прорываться сквозь оторопь его начали.

– Диво-то... Анись... Видишь, диво-то...

– Ну, вижу, дядь Степан. Как на картине какой... – я это бодро говорю, если и дивлюсь, то больше поддельно, играючи. Дед же продолжает.

– Вот знаешь, Анись... Люди-то ровно и не умирают. Я вот глянул на Елену твою Прекрасную сейчас. И, будто не мухомор старый, по крыльцу валенками шоркаю, а мальчишко Стёпка на крыльце том в бабки играет. Соседка, будто, наша тётка Афанасья – прабаушка твоя, а не Лена вовсе по воду к колодцу направилась. Я тогда тоже удивился сильно. Когда она воду-то стала набирать. В одно налила водицы. В друго стала наливать. Я же тихо, не знай чо на меня нашло, опьянел будто, с боку-то подскочил и бабку одну - бултых ей в ведро-то. Вот как сейчас... Гляди... – он вытянул руку, на которой покоился скомканный окурок от газетной самокрутки, заряженной табаком из «хабчиков», любовно собираемых дедом в большущую банку из-под «Нескафе». Ещё б немного и швырнул сигарку. Кабы радикулитом не стрельнуло в хребтину, не напомнило вспыхнувшей ломотой о старчестве. Угомонился, сник сразу мухоморушко.

– А зачем бабу-то в ведро кинул?

– Поди, теперича разбери, зачем...

– Ну а после что?

– Когда? Когда кость-то в ведро зафитилил? А ни чо... Тётка Афанасья не заметила. Вёдра домой отнесла. А потом, видать, хватилась. Вернулась... А мне так жаль, так жаль бабу-то стало ту. Я уж виниться бежать хотел. Мол, прости, тётка Афанасья, отдай бабу. А тут гляжу, сама ворочается.

– Небось, чтобы крапивы в штаны тебе натолкать...

– Да нет... Беспортошный я тогда был. Матушка, аккурат, удлиняла их, а на меня длинную рубаху одела, чтоб срам-от прикрыть. Потому и валандался на крыльце с «бабками», а не с дружками закадычными носился.

– И отдала бабу-то?

– Эх... Лучше б не отдавала... Пусть бы крапивой отстегала за хулиганствие. А то подала бабу и говорит: «Зачем, ты, Стёпушка сделал такое? В воду жизнь твоя уйдёт». С тех пор воды долго боялся. А потом перестал. И даже плавать научился. А бабу-то твоя права оказалась... – и, подытожив, задумался.

– Но ведь не утонул же... И уж теперь, наверно, не утонешь.

– Не утону, – согласился – но жизнь-то и верно ушла в воду. Верно, после того, как застудился при форсированьи...

Ленушка у колодца вдруг замешкалась, вскрикнула даже. Запуталась в непривычных одеяниях свободных и широких, а также многочисленных. Рукавом за что-то зацепилась – то ли за ведро, в которое уже налила воду, то ли у колодца за случайный гвоздь. С полведра на свои наряды вылила, покуда распуталась. Я, было, спасти её кинулся, а она оставшиеся полведра мне на голову. Остолбенел от неожиданности, судорогой всего покорёжило, дыханье перехватило. Стою истуканом обмороженным и воздуха глотнуть пытаюсь. А она хохочет.

– Это вы с дедом накаркали... Это из-за вас...

Я же, будто нырнул в глубину глубокую, воды наглотался, рот закрываю-открываю; сказать хочу – не могу; воздуха бы глоток – дыхание перехватило. И к тому же под рубаху холодная колодезная вода затекла. Захолодило до полнейшего остолбененья, а Ленушка хохочет. Коромысло оставила, ведро пустое тоже. И с одним ведром восвоеси двинулась.

Ожил я всё-таки. Вслед за ней – насмешницей коварной – кинулся. Догнал. На руки подхватить попытался, а Ленушка изворачивается, отмахивается от мокрого, облезшего пса будто, отстраняется одной рукой. Из ведра вода плескалась на траву, на ноги её. Изловчился-таки. Подхватил голубушку на руки – так и в дом бы внёс.

Дед Степан, будто болельщик на стадионе, подбадривает, подсвистывает – как тут подкачаешь.

Всё б ладно. Но «матч» закончился не в мою пользу. Последнее, что сделала ненаглядная моя – надела ведро с остатками воды мне на голову и руками шею мне обняла, чтоб от неожиданности не уронил её. Но разве мог я... Даже смолу или свинец расплавленные лей мне в тот момент на голову вослед за двумя вёдрами воды – устою, выдюжу. На руках женщина любимая, лианьями-руками обнимала шею мою. И пусть на голове не шлем рыцарский, а всего лишь ведро. По всему телу вода ледяная струями разлилась... Но в душе гимны-пасторали звучали.

Дед Степан правильно оценил ситуацию. Кричит:

– Аниська, ты, как рыцарь грецкий должен теперича на коня вскочить и в замок скакать... Тащи, Лизавета, козла с загну-то... – ехидно поясняет.

Вослед, когда мы уж у крыльца были, добавил:

– Уж не обессудь, Анисимушка, коня мои родители в тридцатом году в колхоз свели, а оттуда, как с того свету, возврат не возможен...

Избавился я наконец от ноши драгоценной, шлем свой шутовской скинул. Деду пригрозил, что больше «девок срамных» показывать ему не буду. На что он ответил притворно-равнодушно:

– Стар я на них пялиться-то... Проку от того не мне, не девкам тем... Тьфу...

Тут баушка Лиза из огорода пришла-появилась. Увидела пейзаж-картину и ну деда костерить.

– Ты чего это, старый, молодёжь с ума сводишь? Заняться тебе нечем? Я вот, ужо, погоди... – и потекла известная любовно-ненавистническая перебранка.

Мы не стали дослушивать продолжение, а уж тем более, дожидаться конца тех словопрений и вошли в дом. Сырую одежду с себя снимали. А сухое уж после-после одевали. И жизнь голубиной песней потекла по своим, ей лишь известным канонам и путям, дальше...

Всё же жизнь наша с Леной не была сплошным праздником. Не была и чередой каких-то затейных эпизодов, которые смогли бы, подобно бразильско-мексиканскому сериалу, сложиться в какую-то цепь «весёлых картинок». Уж очень всё там маотно: сытое-пресытое семейство только и делает, что ходит из угла в угол друг за другом, терзаемое мартовской маемой и пытается разобраться: где и чей отпрыск, кто и чей родитель...

Кроме забот будничных, от которых, впрочем, беды не было; мыслей о Саше, тревожащих нашу совесть, наплывала исподволь, незаметно, облаком, перерастающим в тучу, неопределённость нашего будущего. Но пока всё шло своим чередом. Пока виделось всё в радужном отсвете любовной безмятежности; когда каждый вечер сулил радость ночи; а утро радовало тем, что оно есть и бодрит, что впереди целый день весёлой озабоченности и безмятежной будничности – потому всё важное, труднорешаемое или вовсе нерешаемое отодвигалось на будущее, грозя пусть

не взрывом, то лёгким потрясением (в тяжёлые удары судьбы, которые могли бы ударить крепко и ранить больно, попросту не верилось).

Иногда поутру, чуть не на заре, уходил я на реку. Про Еленку не забывалось даже в самые первые дни радостей. Правда, тогда ходили на реку вдвоём. Также брали лодку, снасти-«экраны». Бросали их по перекату, а сами купались или просто сидели на бережку.

Но известный рыбацкий принцип, что женщина на рыбалке, если не к беде, то к плохому лову уж точно, всё-таки восторжествовал. И я, проснувшись рано утром, тихонечко выбирался из уютного ложа, слегка задержавшись, когда Ленушка во сне-полусне по детски хныкала – «опять на свою рыбалку», чтоб поддержать руку на её плече, пока она не успокоится. И уходил, чтоб предаться извечной муке-радости добытчика, чтоб вдохнуть благодати от удачного промысла, чтоб просто, чуть отдалившись, оглянуться на свой дом, в котором покойно спит моя Ленушка. И ей, надумал такое, на завтрак я пожарю свежайшую рыбу с яйцами.

От завтрака она, конечно, откажется в соответствии со своей природой урождённой горожанки, предпочитая чай или кофе, а к ним бутерброд с сыром. Ничего. Меня такой оборот дела не обидит. Рыбку я и сам съем. Главное другое... Главное, показать: вот он, я – смотри, добыл пусть не большую, но рыбу. Ваше же, Ленушка, дело откусывать предложенных яств либо отказаться.

Бывало и так, что она приходила ко мне на реку. И тогда рыбалка наша затягивалась едва не до вечера. И уж тогда Ленушка благодарила меня за все муки рыбацкие зверским почти аппетитом, треская немудрёное мое жаркое...

Девяносто седьмой год... Мне нет и сорока. Я подтягиваюсь на перекладине восемь раз, как в армии. Мой вес семьдесят четыре кило; рост сто семьдесят шесть – точно такие же цифры записаны в моём военном билете. И ещё – вся жизнь впереди. Как в юности: цели едва означены, пути неизвестны. Как в те времена, когда ещё не ушёл в изыскатели, но до первого шага на ту стезю оставались дни немногие. Славно быть молодым. А ещё лучше, если молодость вдруг возвращается из далёких лет...

Запылала зарницами августовские ночи, тревожа сгущающуюся к осени полуночную темноту, врываясь на миг в душу раскатами грусти непонятной, будто в предчувствии чего-то. Может, пробуждая жалость о том, что уходит лето, оставляя в прошлом, как на уплывающем вдаль берегу, минуты благодати, которые уже не вернуться. Может, ещё и снизойдёт блаженство с небес либо с других высот, но это будет другой праздник, на другом краешке жизненного материка, но и он скроется, как заброшенная хижина, в непритязательном убранстве которой расцветали былые радости. И к нашему мирку, затерявшемуся на берегу тихой и ласковой Еленки, крадучись, неслышной поступью, подкралась всё же необходимая и обязывающая каверза – надо ехать Ленушке Сашу

снарядить в школу, с напутствием добрым проводить на учёбу в первый осенний день.

Ночь перед разлукой казалась бесконечной, пока тянулась среди ночных мгновений и мигом кратким оказалась, когда рассвет да первые петухи вспугнули её, и утро обрушилось на нас тяжестью предстоящего расставания.

Мы по очереди успокаивали друг друга, что ненадолго разлука - лишь две-три недели. Приводили всяческие примеры и расчёты, как быстро пролетят эти дни. Лена ехала одна - мы даже не обсуждали этот вопрос. Так лучше было для всех. Я только мешался бы. Даже, если б жил в Лениной квартире и не показывался на глаза Нине Петровне и Саше. Но всё равно своим присутствием-отсутствием обкрадывал бы их заслуженное свидание. И к тому же не хотелось обострять и без того натянутые отношения (точнее, отсутствие каких бы то ни было отношений) с дорогими Ленушке людьми.

Я проводил её до самого поезда. Поздним вечером, даже ночью, посадил мою Ленушку на обычно запаздывающий поезд Адлер-Воркута. В вагон меня не пустили, так как поезд стоял на станции только две минуты. Но за эти минутки было столько всего: и слёзы на глазах Ленушки, и еле сдерживаемые мною; и слова, произнесённые, а больше не промолвленные, но взглядом посланные; и прощальный поцелуй, оборванный проводницей - «хватит уж, хватит, молодёжь, не навек же прощаетесь».

Поезду дано отправление... Руки - ускользающие и холодные то ли от ночной прохлады, то ли от возникающей и ширящейся пропасти-разлуки... Последний миг, когда появилось лицо Лены в проходе вагона. Из-за того, что стекло было грязным и невымытым, не мог понять-разобрать, чего же было в выражении его больше всего: боли, а, может, облегченья, что какой-никакой развязке сделан шаг навстречу, а это уже кое-что. Ещё прощальный жест рукой в окне уходящего-убегающего вагона был; стук колес уходящего поезда, светящегося красным огоньком на последнем вагоне. А потом рухнула тяжестью всех небес тишина. Жуткая, невероятная, невоспринимаемая и отторгаемая душой, сердцем, разумом.

Долго стоял я в оцепенении на перроне. Уже другие поезда подходили и уходили. Товарняки, ужасно грохоча, содрогая твердь земную, ударяя невидимыми воздушными потоками, проносились чудищами невообразимыми. Новые пассажиры садились в свои поезда, чтоб оказаться в своих дальних от родины странах; другие, наоборот, сходили с поездов, чтоб на краткий миг своих отпусков соприкоснуться с местами, где в исчезающих, сравнивающихся с землей могилах покоятся деды-прадеды, где безвозвратно зачахли и отмерли земные их корни.

Торопиться мне было некуда, автобус обратный только утром. До того времени в себя пришёл немного. Вздремнул на фанерном диванчике, перегороженном на отдельные сидения-места металлическими

трубами-дугами. И, когда, промучившись на казённом заседе часа четыре, стряхнул с себя сонную оторопь, выйдя на привокзальную площадь, почувствовал себя значительно уверенней и бодрее. Исчезли куда-то страхи перед долгим ожиданием встречи, безнадежность сменилась оживляющей верой во всё лучшее.

Обратный путь на автобусе по разбитой, хотя и асфальтовой, между-городней автотрассе и вовсе подействовал оживляюще – лечебное воздействие дороги на душу известно.

Не грустным, не печальным виделось будущее. Разлука она минует; встреча наградой будет великой, и опять сольются в едином мире любви и благодати и Ленушка, и Еленка, где этот мир здравствует. Ну, чисто рай – подумалось шутейно сперва. Но потом разлилась эта мысль озером-океаном широким. И понесло по этому океану, как шлюпку дырявую с одним веслом...

Вот, помри я сейчас, в эту самую минуту: куда попаду – в рай или в ад? Ни того, ни другого не надо. Ведь возможно такое: бандиты башку оторвут; от сердечных болезней мужики мрут, как мухи от дихлофоса; рак в организме какой-нибудь заведётся – мало ли напастей на род человеческий. Ад, понятно – сковорода, черти... А рай? Какой рай, если без Ленушки. Разве буду я себя чувствовать в райских садах, где яблоки не в пример нашей «китайке» и прочие дивные фрукты, ешь – не хочу, счастливей и безмятежней? Нет...

И пусть не брешут всевозможные проповедники, что есть рай не на земле. Ад всё... Если Ленушки нет рядом. Не может быть рая неземного. Пусть ты там в холе и неге, но одинокий. Ведь на Земле в это время близкие люди, оплакав тебя, вспоминают лишь, но ни ты им, ни они тебе весточки передать не могут.

Придёт время, все там соберемся. Но до того? Нет рая кроме земного. В несытости, в несвободе, болезнями тело мается. Но душа – птица вольная. И как можно не понимать этого, как можно рушить земное и не беречь? Как можно надеяться, что где-то там лучше? Нет ничего прекрасней земного. Здесь рай-то... Здесь... Только не видим его, а надо бы. Разглядеть... Обрадоваться открытию такому... И беречь этот рай...

Потекли дни моего сиротства. Один на другой похожие. В основном на реке пропадаю, с Еленкой одиночеством своим тихим и светлым делился. Рыбой населенье красногорское закармливал чуть не до одури, баушки уже и отказываться стали, мол, рассчитывать надо, а нечем. Но я, будто ростовщик настырный, который хочет всех долговой повинностью охомутать, насылался – бери, дескать, баушка, потом и рассчитаться будет чем, а рыбы уже не будет. Последнее действовало безотказно, и рыбу удавалось всучить.

Вечера у телевизора проводил. Либо к деду Степану на «политграмоту» заглядывал, которая однако быстро заканчивалась, ибо всё, что дед

вещал, шло вразрез с миропониманием баушки Лизы. И она, обычно, послушав благоверного, сколько позволяло терпение переваривать его политические изыски, встревала в самый пик его разглагольствований, сбивала его воодушевленную речь, спустив на землю разошедшегося голубка.

– Да, ты чо, старый, опупел (офонарел, сбрендил на старости лет, объелся чего, не с той ноги встал, либо иной из многочисленных вариантов)...

И начиналась перебранка, заканчивающаяся неременной капитуляцией деда.

– Супротив бабы, что против ветра ссать (как черту против ладану; как пле-тью обух не перешибить; о стенку горох; «божья роса»; и также множество иных продолжений, точнее, последних слов «подсудимого»).

После капитуляции дед приглашал меня покурить на крылечко. Там уже за сигаркой говорил мало. Делал затяжку-две, после которых следовала фраза и долгая пауза. Я тоже не был разговорчивым. Иногда хотелось порасспросить деда про старое житьё. Но начать такой разговор что-то удерживало. Фальшь какая-то слышалась в том, что ли...

После перекура обычно расходились по своим углам – дед к себе, я к себе. В последних числах августа пришло письмо от Ленушки. Первое. И, как оказалось последнее. В нём она писала в основном о Саше, конечно: как встретил её; как вырос парнишка за лето; что к школе купили – какой костюм, портфель-ранец новый, тетради и прочие школьные мелкие принадлежности. О маме Нине Петровне писала, что на даче всё лето пропадала, что на зиму много всяких консервов наготовила. Письмо было длинным, но о себе, о нас в нём ничего, можно сказать, не было. Лишь маленькая приписка в конце, что приедет числа седьмого-восьмого сентября и привезёт «сюрприз», о котором ни слова, ни полслова, и гадать нечего. Мне почему-то казалось, что я знаю его, но признаться даже себе, не решался. Слишком нелепой, но желательной казалась догадка, не дай Бог, вспугнёшь или сглазишь.

Погода стояла чудесная. Солнце, перевалив полуденную черту, палило нещадно, будто и не прошли два Спаса, будто «олень в воду хвост не обмакнул». Поговорка последняя всем известна, но, если спросить, как это олень хвост обмакнул, и, вообще, есть ли он у оленя, многие в тупике окажутся.

Потому мало кто правильно ответит на такой простенький вопрос. Верно, многие сравнят его (хвост олений) с коровьим либо лошадиным...

Но вода и впрямь отличалась от июльской: по ночам - холодным и тёмным - уже остывала, а нагреться даже в жаркие дни не поспевала. Пару раз я всё же пытался окунуться в Еленке, освежался чудесно, но удовольствия мало получал от купания. И, маясь от жары, невольно прокручивал в мозгу, будто граммофонную запись, разные песенки. Либо стишки. Один так прямо въелся в извилины мозга. Как заколодило, две строчки из стихотворения местного поэта, напечатанные в районной газете.

Не будет ли завтра ненастья.
Устал я от солнца томиться...

Дальше не запомнил, какая-то муть непонятная. Но эти две строчки до того довели, что другой раз плевался мысленно. Хуже репья. Может от погоды всё, от жгучего полуденного солнца, от перерыбалки...

Лена приехала восьмого сентября, как обещала. Я не встречал её, потому как не знал точно, каким поездом она приедет. В предварительной кассе билетов на те дни не было. Пришлось положиться ей на то, что билет приобретёт по приходу поезда. Это ей удалось без труда, потому что для поезда Воркута-Адлер ситуация, когда в кассах билетов нет, а поезда идут полупустые, обычна. Приехала Ленушка налегке. Только одежду привезла зимнюю тёплую. От гостинцев отказалась, мол, не знаю, как доберусь, куда ж тут ещё и с поклажей громоздкой таскаться.

Суть «сюрприза» подтвердилась. В следующем году, в начале его, должен я стать не только мужем, но ещё и родителем. Я не подал виду, что догадывался о сути «сюрприза». Но радовался откровенно. Как не радоваться, если всё в моей беспутной «перекатипольной» жизни встает на свои места: дом, жена, дети. «Дети» во множественном числе написал, неестественно желать иного. Впрочем, в теперешней жизни эта неестественность свила такое прочное гнездо из бетона и арматуры, что многие семьи одним дитём и ограничиваются.

О «сюрпризе» Ленушка поведала мне уже под утро. А потом рассказала о хождении к гинекологу.

— ...Он посоветовал подождать с этим год-два. Но куда уж мне ещё-то ждать, скоро, как баушка Лиза, старая стану. Мол, травма может отрицательно сказаться на беременности. Но я так чудесно себя чувствую, будто девчонка. Потому уверена, всё закончится хорошо.

Я на миг подумал, что, может, и прав врач: но как могу судить или советовать? Если бы согласился с опасениями врача, то, получалось, обижал Лену. Но и поддержать её словами не мог — фальшь бы в голосе, боюсь, прозвучала. А так не хотелось это диво дивное — признание Ленушкино — натянутостью, пусть лёгкой и безобидной, разбавлять

А поутру началась, как сказал дед Степан, «огородная баталия» — уборка картофеля на огороде. Я копал вилами клубни; баушка Лиза с Леной собирали следом их. Дедко тоже взялся было копать, но работник из него уже никудышный и больше за вилы держался, нежели производил ими что-то осмысленное. Зато чутко руководил уборкой, не забывая заводить супругу.

Ещё он мешки поддерживал, когда женщины ведра опорожняли. И, не дай Бог, если баушка Лиза картофелину мимо мешка сыпала. Дед ментально в горного и хищного орла превращался. Сколько слов, характеризующих дырявые баушкины руки, дед Степан знал, не сосчитать. Во всем словаре Даля столько не сыщешь.

Зато в адрес Ленушки только самые лестные и добрые. Я даже подумал, доворкует дед – баушка слушает-слушает, да наденет ведро на головушку седую.

Но та долготерпивицей в тот раз выказала себя. Работа в первую очередь, а побасёнки уж потом. Лишь ворчала тихо.

– Языком молоть – не мешки ворочать. Ужо поглядела б я, как ты их таскать стал. Небось, на Анисимушку всё свалишь, прохвост старый...

За три дня с двумя огородами управились. Вечером пир устроили. Баушка пирогов напекла. Ещё раньше пиво деревенское замутила. Деду по такому случаю «поллитровку» выставила.

По рюмке вчетвером выпили, остальное дед изничтожил. Мы под свежую молодую картошку на солонинку налегали, сколько всего поставлено: только по ложке-другой отведать всего и то сыт будешь. А ещё пивком запивали – не хмельным, но добрым.

За столом, конечно, по старшинству дед больше говорил. Мы с Ленушкой, разговор чтоб поддержать, чтоб монолог дедов в некую полемику обратить, лишь изредка вопросы вставляли.

Поллитра опустела быстро, деда сморило. И остались мы втроём чаёвничать. Тут уж я лишним оказался. Ленушка форменный допрос баушке Лизе учинила – больше про старину, про молодость баушкину. А потом вдруг про домового спросила.

– А они есть, бабушка Лиза?

– Конечно, есть... А-то как же без хозяина-то. В каждом доме он есть.

– У вас тоже?

– А как нет... Ему уже больше двухсот лет.

– А как вы узнали?

– Чо не узнать-то... Дом этот дед Степанов построил. В этот дом из старого перебрались. И хозяйюшко с ними. А к деду от его деда. Пока корень не нарушится, покуда семья из старого в новый том переселяется, до тех пор и хозяйюшко с ними кочует. Вот, ужо, мы помрём с дедом, и хозяйюшко следом. Там и свидимся...

– А в нашем? - после паузы краткой опять со своими расспросами к баушке пристаёт Ленушка. – У Анисима, я имею в виду?

– Есть...

– Старый?

– А вы сами его расспросите, если он говорить захочет. Только вопросы задавайте, на которые ответ можно словами «да» или «нет» дать...

– А как его вызвать?

– Скажу тебе... А, ты, Анисимушко, выйди, покури на крылечке...

Выжили-таки меня. Правда, я и сам искал предлог, чтоб улизнуть от тягомотины бабской. А вот нате вам, оказывается, и выдумывать не надо ничего – угощён, так отваливай.

Покурив, я уже не возвратился в избу, а отправился домой. Ленушка пришла где-то через час.

– Ну как лекция о домовых?

– А ты не смейся. Лучше давай проверим...

Мы проверили... Домовой у нас жил.

Чтоб не осмеяли меня, методику вызова домового для разговора с ним я расписывать не буду. Скажу лишь, что это действительно занятно.

Мы его, конечно, не видели, но ответы получили. Наш хозяйюшко был молод - сто лет с небольшим. Он помнил всех, кто в этом доме жил и очень жалел первую жену моего прадеда, убитую молнией. Она была самой красивой из женщин, живших в этом доме. Когда её убило, она была беременной. Деда хозяйюшко недолго любил. Потому что тот приводил в дом полюбовницу.

Бредни, скажете? Может быть, но мне почему-то верится.

Ещё мы спросили, знает ли он будущее. Ответ был утвердительным. Но на просьбу поведать что-нибудь о нашем житье в будущем, отвечать отказался. Видимо, не в его власти это. В противном случае, может, и просветил бы. Но мы и не нуждались в подсказке, потому что день завтрашний наш виделся ясным...

Неспешным чередом жизнь наша полунебесная стала обретать земные очертания. В городе мы уже не покупали всякие ненужные безделушки – вроде барометра или цветастых журналов, в которых кроме дивной разляпистости и ярких видов не было никакого содержания. Лишь пошлая и богемно-паскудная писанина. Мы хоть и «молодые», но выросли на литературных «толстых журналах», а не на «весёлых картинках». Исполдволь, не желая рушить обретенное счастье - не счастье, но всё-таки безоблачное житие, пришлось и над тем задуматься, как и где жить. В здешнем красногорском полубездежье жить было решительно нельзя, но и покидать это уединенье не хотелось. И, пожалуй, самым реальным виделось прожить здесь «медовый год» и вернуться на Север в однокомнатную Ленушкину квартиру. Неправильно, что Саша живёт там у бабушки подкидышем, что так и позабудет он о том, что есть у него мать не какая-то там «кукушка» гуляющая, а вполне нормальная женщина, только влюбившаяся не ко времени. Да и с работой следовало бы вопрос решить – то ли к торговым делам пристать, то ли к изыскательским трудам вернуться.

– Саша к тебе привыкнет, – успокаивала меня Ленушка. – Когда я рассказала, что у тебя есть лодка резиновая, что ты с неё ловишь много рыбы, у него в глазах блеск какой-то появился. Всё ж мужчина и в наше время добытчик. Даже природа эта в детях проявляется, искрой в глазах детских вспыхивает...

– Надо было раньше тебе за ним съездить. В июле что ли...

– А ты помнишь, что в июле было?

- Ну... Лето... Жарко... купаться можно, загорать...
- И всё? – разочарованием вдруг плеснуло будто.
- Что ты... Я не про нас... Я про лето, – оправдываюсь.
- Не оправдывайся. Я и сама, наверное, большего не скажу.

Вот ведь как, подумалось, самый счастливый, можно сказать, месяц был, а в чём это заключалось, уже и не вспомнишь спустя два месяца. Верно, счастье можно только чувствами понять и ими же изложить, а вот разумных слов нет, чтоб объяснить его, чтоб годы спустя поведать о нём детям-внукам.

Что им расскажешь?

Счастливы, мол, были с бабушкой.

Но они же настырные. Будут надоедать – что, как, почему. Сможешь ли растолковать им? Поймут ли? Счастлив – и всё. Без слов, без интонаций... Вот кабы найти слова те. Может, легче б найти им было свое назначенье в жизни, понять и принять свой удел. С другой стороны, коли найдутся такие слова, которые с математической точностью выразят формулу счастья, то не потеряет ли сама жизнь свой смысл? Но когда это будет? И будет ли...

Осень поздняя обнажила деревья, разнесла листву по округе; окрасила в вызывающе-неживой, но зелёный цвет луга и поля, засеянные озимыми; огласила увядающее пространство курлыканьем улетающих журавлей; дождями затяжными да ветрами северными похлестала по черневшие избы и строения сельские да и ушла дальше на юг, верша и там свои дела по извечному кругу.

И с первым снегом не нарушилось природное убранство, лишь обрело присущий времени наряд. Как и в жизни, которая продолжалась, ежедневными делами домашними да заботами заполненная. Однообразие дней не тяготило. В стране не было потрясений текущих и непредвиденных, что не то что бы радовало, но не огорчало хотя бы. Беременность Ленушки не осложнялась никакими задачами, а вот это радовало. Иногда приходили письма с Севера (Ленушке, конечно) от Саши и Нины Петровны, в которых в основном расписывались успехи Саши в школе, несколько слов посвящалось здоровью писавших и заканчивались письма-восточки непременно (пусть и суховатыми) приветами мне и соседям нашим – баушке Лизе и деду Степану, о которых Ленушка немало порассказала (в самом хорошем смысле) своей маме.

Новый девяносто восьмой год встречали вдвоём. В тишине своего дома, когда не было гостей, когда и нужды в них не было. Лишь баушка Лиза с дедом пришли на наш предновогодний «огонёк», но уже в девятом часу вечера покинули нас с пожеланиями соответствующими.

После Рождества мы уже всю шептались по ночам, что скоро нас будет на одного человека больше.

И он, этот человечек – Лиза или Степан (мы уже и имя этому человеку при-думали), поможет разрешить ещё одну проблему – соединить две половинки фактически одной семьи. Нас и Нину Петровну с Сашей. Неестественна эта натянутость в наших отношениях. Неестественно и то, что Саша при живой маме не видит её. И вот скоро, мы надеялись, всё устроится...

Беда случилась через три дня после Рождества. Была оттепель, весь день и ночью даже капало с крыш, туман мелкой влагой – именно влагой, а не каплями висел в воздухе, медленно оседая, и, освобождаясь от переизбытка воды. А к утру похолодало. И сырость, пропитавшая накануне всё и вся, превратилась в лёд. Ступеньки крыльца, будто остекленные, покрытые полировкой, блестели зеркалом и были скользкими, как первый лёд на реке, на котором устоять проблема.

Зачем Ленушка отправилась к баушке Лизе, я уж и не упомяну. Да и не важно это. В её-то положении... Да ещё и на скользкие ступени шагнуть...

Я только слабый вскрик услышал. Сначала, будто пронзило меня с головы до ног копием острым и к полу пригвоздило. Но быстро опамятовался. Выскочил на улицу...

Дальше всё, как в старом чёрно-белом телевизоре – мутные тени, расплывчатые лица, дикий и непонятный сюжет, больничные запахи, белые халаты на фоне обшарпанных стен. Провал в какое-то небытие...

И, наконец, врач. Как в фильмах показывали: когда умирает кто-то из близких, выходит врач и, отведя глаза, подбирая слова, путаясь в их шаблонной неуместности, заикаясь, морща лоб, перебирая ненужными сделавшимися руками, выдавливает наконец из себя скорбное известие. Ещё и слов сказано не было, а я уже всё знал. Но лишь пытался как-то убедить себя, что всё происходящее сон; что надо проснуться, убежать от кошмара. Но что-то тяжестью неподъёмной давило меня к дивану, на который сел медленно, подламываясь в коленях и поясице. И туман в глазах. И какие-то сполохи-взрывы пытаются разнести в клочья мозги. И слова, рождаясь, застревали произнесёнными в горле: «За что?» И вой дикий, страшный, зародясь где-то в самой заутробной глубине, прорывался наружу, но, наткнувшись на что-то, душил лишь, выбивая слезу из глаз – крупную, редкую...

Домой привезли меня на «скорой». Уколов каких-то навтыкали. И в том наркотическом забытии были тоже лишь огни пожара; чудища, пожирающие всё подряд. Цветы гигантские неземные, лепестки которых жадными щупальцами тянулись к моему горлу.

Да разве расскажешь, да разве стоит об этом говорить, писать – не поддаётся это слову, не укладывается в мыслях, что нет больше Ленушки, что оставила, уходя, дочку малую Лизушку. И, вспыхнув на мгновение, имя это среди бушующего безумья отогнало виденья, пригасило пожарище... Пришёл в себя окончательно в постели своей. Баушка Лиза

рядом сидит. Дед, слышу, на кухне сидит-кряхтит и самокрутку курит: дымина едкая и ядовитая – кого хоть в чувство приведёт.

– Проснулся, Симушко... – баушка, увидав, что глаза открыл, заговорила. – Вот и славно... Вставать надо. Хоть через силу, но встань... – а сама слёзы вытирает.

Делать нечего. Подчинился баушке, не отстанет ведь – знаю. Встал, ноги подкашиваются, шум в голове – накололи наркотой, видать, основательно. Но расхотелся.

После пошли печальные хлопоты размеренной чередой. Прощание. Погребение. Горячий стол... Девятый день... Как во сне, как автомат – робот неживой.

Похоронили Ленушку на кладбище нашем красногорском рядом с моими родителями. Если оградку подвинуть, то и мне место найдётся.

Нина Петровна с Сашей приезжали на похороны. Но разговора с ними не получилось – до того ли. Но, прощаясь, Нина Петровна сказала, чтоб обращался в случае чего за помощью, мол, Лиза и им внучка и сестра. Но какая помощь от старого да малого. Чем бы им самим помочь, подумалось. Но и на том спасибо, что не винили, что не озлились. Может, и с ними наладится всё.

Баушка Лиза на дню не по одному разу заглядывала ко мне. И всё про дочь наставляла: чтоб не надумал бы в приют её сдать, отказаться от малой, мол, молодые нынче на такое горазды – что старого, что малого в один день спровадят в интернат. Но я успокоил.

– Что ты, баушка... Я, что, нелюдь какой... Разве можно такое подумать, чтоб наша с Ленушкой дочь (мы ей ведь имя уж придумали) да в приют.

А когда ещё и имя назвал, которое дочке будет дано, совсем баушка обрадела и успокоилась. А у дочки, как и у мамы её, появился ангел-хранитель земной – баушка Лиза.

Забирали Лизу из роддома с моей одноклассницей Мариной, точнее, Мариной Васильевной – главой нашей сельской администрации. Но до того несколько раз ходил то к врачу на консультации, то на учёбу – молодого папы. Надавали мне там кучу брошюр разных и памяток; не одну лекцию прочитали о воспитании детей в раннем возрасте. Врач под конец напутствовала.

– Ты побольше с баушками красногорскими своими советуйся. Они после войны такую школу вдовства... – тут главврач, говорившая это, споткнулась, глаза потупила. – Прости, но это теперь твой крест. Так вот, такую школу прошли, что ни одному народу и не снилось. К ним обращайся. И к нам, конечно...

Марина тоже меня всячески ободряла, хотя у самой беда в доме – муж-пьяница год, как удавился. А тут ещё дочка мальчика нагуляла и в город смылась гулять-веселиться.

– Раньше б и проблемы не было. Подыскали бы работу в совхозе, дочку в ясли... Теперь, сам видишь, сам понимаешь – ясли закрыты, совхоз то ли есть, то ли нет... Если какая мелкая шабашная работа будет по-плотницки, либо дров кому напи-лить-наколоть... А так на себя, Анись, надейся больше. Люди, конечно, помогут, но отец – ты...

И началось моё безрадостное вдовство. За один год жизнь будто целую прожил. Сначала холостяк, потом муж любящий-любимый и, наконец, отец и вдовец. Закрутило крепко, чуть не в бараний рог. Но выжил, впрягся в гуж и тащу его пока. Слава Богу, баушка Лиза с дедом первые мои помощники. Без них и шагу не шагнуть. И одёжку детскую из всех старушечьих сундуков (обошла всех) повиытаскивала, пропахшую нафталином; и всякие пелёнки, одеяльца справила; деда заставила колыбельку с чердака достать и подремонтировать. Я же на подхвате у них.

Привыкнуть не привык, но жить с болью как-то приноровился. Тяжелее всего по ночам. И по весне. Когда Еленка разгулялась, вширь-вразлив пошла. И казаться стало, что вот распустятся берёзки по берегам, зазвенит жаворонок над полем и вернётся былое, вернётся русоволосая и ненаглядная моя Ленушка.

Как тяжело мириться с тем, что несбыточно-нереально! И больно...

Тяжела жизнь на Руси. А сиротская и вдовья того тяжелее. Но не слезу и боль ношу я на дорогую мне могилу, а мысли свои о житие будущем да, совета услышать будто желая, обращаюсь к Ленушке своей. И откликается она, не словом сказанным, а облегченьем душевным, после которого и жизнь не так давит бременем, и думы светлые сквозь печаль пробиваются.

На Пасху, когда со стариками на кладбище отправились, и Лизушку взяли, дескать, посмотри, мамка, на дитя своё, голос её услышь. Но не услышала Ленушка голоса дочкиного, молчала та, хотя и не спала – глаза открыты, тиха была как-то по-особенному, торжественна даже, мол, не место звонким смехом или плачем громким разливаться...

Надвинулась страда огородная бедой-заботой извечной. У старух красногорских переполах – дождь зарядил на пару дней вопиеж, все зальёт, ничего не вырастет; солнце пригрело, ох беда, всё ведь выгорит. Сначала свой огородишко прибрать-засадить; соседям, мухоморишкам дорогим, как не пособить. Тем более, что баушка Лиза от нас почти не уходила, нянчась со своей тёзкой-крохотулей. И благодаря этой помощи со стороны баушки смог я и к делу какому-никакому пристроиться. Чуть не каждый день Марина присылала кого-нибудь из мальчишек на велосипеде за мной: кому грядки (старикам одиноким) вскопать, кому забор поправить либо крылечко. Потом сенокос, уборка картошки и прочее. Работы мелкой преизрядно. Доход, конечно, от этого невелик – в основном провиантом каким-либо деревенским. Самое же главное – работа хоть на время от дум тяжких отвлекала, уводила азартом трудовым в тихое безмятежье.

И, конечно, Еленка бальзамом на душу флюиды невидимые изливала. Мило освежала студённостью своей по утрам. И мирно убаюкивала, когда глядел на струи её, играющие на перекате. И даже мысли о Ленушке-покойнице не были на берегу её мрачными и беспросветными. Пусть обращались те думы в прошлое, пусть ничто из них не трансформируется в настоящее и будущее, но радость тех дней на берегу Еленки отзывалась лёгким пощипыванием в сердце, а не сжимая его зубастыми тисками, возвращалась эхом затихающим, будто шепча, что было то время дивное со мной, с Ленушкой и никуда уже оно не денется, пока живы я и во мне Ленушка. И глаза влажнели от этого горького блаженства; и взгляд их останавливался на какой-либо точке пространства; и время, споткнувшись об что-то невидимое, замедляло свой бег, останавливалось и молчаливым призраком охраняло мою успокоившуюся на миг душу...

И ещё одна забота не давала мне покоя. Ведь у Ленушки остался Саша. Пока он с бабушкой, и сыт, и обут-одет. А случись что с ней...

Денег мне худо-бедно хватало. Даже оставались. Потому написал откровенное письмо Нине Петровне. Что, мол, женщина она сильная; что есть у неё внучка, а у Саши сестра; что приехали б погостить к нам летом. А если Нина Петровна по какой-либо причине сама приехать не может (или пусть даже не хочет, но об этом я, конечно, ни вскользь, ни намёком не помянул – пусть решит сама), то хотя бы привезла Сашу – здесь он под присмотром будет, и отдохнёт неплохо, и сил перед школой нагуляет на свежем деревенском воздухе. Одновременно с письмом ещё и денег отправил – пятьсот рублей. К переводу тому приписку сделал: если не приедут, то пусть Нина Петровна купит что-нибудь Саше от нас с Лизочкой в подарок.

Недели через три ответ пришёл – короткий и категоричный: не может Нина Петровна приехать и Сашу привезти не потому, что против, а потому, что работает, а Саша в летнем лагере отдыхает. В июле же они собирались на море. За приглашение благодарила. Про перевод написала, чтоб больше не смел даже и думать высылать деньги; отошлёт обратно, не задумываясь, несмотря ни на какие наши уловки. И полученные деньги отправила бы обратно, но раз они и от Лизы, то...

О том, чтоб про Лизочку написали-рассказали, ни слова. О Ленушке тоже. А это следовало понимать, что жизньё наше Нину Петровну не интересует, и писем потому более присылать не следует. Обиден был такой поворот дела, но что против этого скажешь... Я и сам не раз думал, что однажды, оказавшись рядом с ними, не принёс им ничего доброго, – и это ладно. Но ведь разрушил и то, что было. Не смуги я Ленушку своей любовью, жила бы сейчас со своими близкими в мире и согласии, а также, самое главное, в полном здравии.

Тяжко с таким грузом жить. Ох, тяжело, а куда от этого уйти. Как жизненный порух поправить, чтоб вину искупить перед тремя разными

людьми – Ниной Петровной, Сашей и Лизочкой? Как облегчить их горькое сиротство? И уже своя боль не болью кажется, а наказаньем вечным, пожизненным, никаким амнистиям неподверженным.

Лето прошло тихо и незаметно. Осень своё отплакала. И её зима вытеснила, полонив округу белизной, накрыв куполом по ночам звёздного, а кратким днём безжизненного и глубокого синего неба. Лизочке год исполнился. Она бегала по избе в мягких чуньках, связанных баушкой Лизой, и лопотала на своём, только ей понятном языке. Но первое слово, которое произнесла внятно, было, конечно, как дань своему «ангелу-хранителю» – «баба», а потом уж все остальные.

Подёнщины к зиме да и зимой совсем не стало. И я откровенно бичевал в своей избе. С великим трудом поднимался с поздним рассветом и обмороженным окунем шарахался по выстывшей за ночь избе, натываясь и спотыкаясь, роняя из рук всё, покуда не пробуждался окончательно, испив крепкого чаю, «голимого чифиру» – по словам баушки Лизы. Но чаще именно она и будила нас, совесть и поучая.

– Вот все вы, Портошвеевы, спокон веков такими лежебоками и были: и матушка твоя, и родитель твой беспутый, Царство им небесное. Я уж другой раз и печь протоплю, оне же, बारे, только чухаться начинают...

Но я слушал эту проповедь сквозь дрему и тихо радовался, потому что не надо химичить с детским питанием – баушка всего намутит-наготовит и в самом лучшем виде.

Ничего у неё не подгорит, ничего через край не убежит. Не то что у меня, безрукого.

Дед Степан по осени застудился крепко и теперь больше болел – на печи лежал. Лишь изредка сползал оттуда, кряхтя и ругая извечных отныне вражин Ельцина и Чубайса неизвестно за что, но бывало вдруг менял свой гнев на милость, вглотив глубоко первую, самую забористую, затяжку. Начинал вдруг им сочувствовать, мол, народец наш таков, что никто ему не будет угоден, кого ни поставь, потому как самое беспроегрышное дело ругать всех, за всё и просто так «для блезиру».

Поближе к весне дедко оживать начал. И даже пару раз приходил втайне от бабки глянуть «похабное кино». Да и по вечерам подолгу с ним курили, гоняя дым в трубу. Баушка на нас ворчала.

– Вам бы только прохлаждаться, да дымить попусту...

Но мы на это внимания не обращали, лишь ухмылялись слегка – что нам бабья брехня, коли о наиглавнейшем калякаем, ведь к концу года надо было Думу выбирать и Президента нового. У деда насчёт того и другого мнение одинаковое.

– Чо их менять-то, другие придут – так же воровать будут. Оставили бы, как есть. Эти-то нахапают, так, может, посла и делом займутся....

Но потом вдруг и этих жалеть начинал, мол, места-то в думах де-

нежные, всяк туда норовит попасть. И тем, кто попал туда, ещё по десятку в затылок дышат, скovyрнуть норовят – до работы ли тут.

– Будто по ножу ходят, чуть оступись – вмиг скovyрнут.

Я не возражал. Больше поддакивал деду, часто не улавливая даже смысл им сказанного, потому что в думах улeтал куда-то в другие дали, из которых не хотелось возвращаться. Но думы эти нельзя сравнить с теми мечтами, когда в детстве также просиживал у печки, глядя на огонь. Когда уносило меня в самые разные концы света – сначала по разным островам и джунглям. Потом в мечтах своих поддался тогдашнему патриотическому насилию и возжелал построить город в глухой тайге и назвать его именем самой красивой девчонки в классе – Люськи. Но как трансформировать это имя в название города, так и не смог сообразить. Позднее же показала жизнь, что в лесах и болотах никто не строил и строить не собирался, а от серо-бетонной архитектуры потянет на блевотину, отчего свернет меня с проторенной дороги градостроителя на какую-то «медвежью тропу» инженерных изысканий. Но, Слава Богу, вразумился всё-таки, и вот дом какой-никакой; жена, которая любя даже после кончины безвременной; и даже дочка, вон, с баушкой мурлыкает о чём-то...

А ещё заметил: головой стал деревенеть. Думы какие-то стариковские – о земном, да о житье безрадостном. Да и потоки самих мыслей стали похожи на дедово бесполезное брюзжание. Хотелось противиться этому, но не было сил. Лишь думалось тяжело.

– Вот и состарился. К сорока годам-то...

А ведь Лизочке только год минул. Взрастить же её надо. Об этом бы мерековать. Но не получалось. В школу ещё рано. А всякое детяслeвство-детсадовство разве заменит баушкино воспитание – мудрое и простое, понятное и глубокое. Вот и выходит, что не грех и полентяйничать душой и разумом, не всё так плохо...

В апреле месяце, когда уже Еленка отыграла своими буйными водами вешними, новая беда пришла в наш дом. Если точнее, в соседский. Но так уж сложилось, что всё у нас перемешалось – козы баушки Лизы, а молоко – нам; книги у меня, а главный читатель – дед Степан; а главное же, баушка Лиза и моя Лизаветушка-лапушка, будто пара неразлучная и в остальном всё примерно, так же – где мы, где они, – нет границы-черты. И текло б так мирно и ладно дальше, но однажды утром, рассветать едва начало, стук в окошко меня разбудил. Тревожное и страшное сразу же слышалось мне, лишь продрал глаза, в этих требовательных и хлeстных, как набат, ударах. На крыльцо выскочил, дед Степан стоит в кальсонах и босой. Да телогрейка на плечах. Глаза расширены, руки трясутся, лицо какое-то дикое, будто повело его от невыносимой зубной хворобы-флюса:

– Лизавета... Анисим... Померла... – может, ещё что говорил дед, но у меня лишь эти три слова в голове отложились. Промолвив, осесть на-

чал дедко, обмяк-съёжился. Успел я его подхватить. На ступеньки мокрые усадил. Понимаю, что правда сказанное, но верить не хочу. Как без баушки Лизы? Я... Лизочка... Дед Степан... Как? К-а-а-а-к...

Взвыл я по-звериному бы, но не смог или сдержал себя, не упомяну. И боль утраты близкого, которая потрясла однажды, когда Ленушка покинула этот мир, вернулась будто. Сковало, сжало всего. Ни говорить, ни думать не могу. Рядом с дедом плюхнулся. На коленку его руку свою положил – то ли успокоить старого, то ли себе какую опору бессознательно искал. Рушилось и это нынешнее хрупкое равновесие.

– Что делать-то теперь, дядь Степан?

– Пооди, к Анфисе сходи, – оне, бабы, всё знают...

Я встал, к воротам направился. Но обернулся, дойдя до них почти.

– Ты б шёл, дед, в избу.

– Нет, Анисим. Посижу я. Горю я весь. Ты вот что... Нас с Лизаветой-то рядом похорони – уж, наверное, напоминать не надо. Ты, это... Как помру, значит, всё хозяйство и прибирай себе. Мы всё на тебя отписали.

– Погоди, дядь Степан... Потом уж...

– Нет, не потом... Не доживу я до «потом-то»... Вот посижу с Лизаветой и на упокой...

Совсем меня последние слова дедкины смутили, поверил я в то, глянув попристальной на него. А он продолжал:

– Ты уж прости меня, Анисим, что только один день с тобой в компании-то и провдовничал, опорой какой-никакой только в сей день и час пробыл. Не обижайся – стар я уж больно, чтоб такую незадачу пересилить. Тебе ж не миновать этого долгого лиха... Так что наберись силов и терпенья, сынок...

Первый раз назвал меня так дед Степан – «сынок». Не было у него деток своих, но хотелось того, верно, сверх всякой меры. Потому слово это святым для «мухоморки» было. Но сейчас вот молвил его. Мне молвил. За своего сына нерождённого на белом свете оставлял; память по ним на земле хранить.

«Спасибо, – хотел сказать – батя», но показалось лишним обмолвиться так. Вроде как согласие давал на его уход скорый. Но не в силах это моих и дедку в мир иной провожать.

– Ты уж выдюжи, Анисим. Доля твоя такая... – тихо, успокоившись будто, вслух ли размышляя, проговорил дед Степан и, помолчав чуть, добавил: – Хуже солдатской...

Я тихо прикрыл за собой калитку и пошёл к бабке Анфисе. Старухи сбежались к дому баушки Лизы в течение получаса. Начали без предисловьев своё хлопотное известное до мелочей дело. Деда, сидевшего каменным изваяньем, выпроводили в боковую комнатку. Меня снарядили копать могилу.

Дали напутствия и указания, где и как копать, заверили, что за Лизочкой присмотрят. Ещё посоветовали кого-нибудь из мужиков селе в помощь взять, для чего снабдили соответствующим «тормозком», в котором были водка и нехитрая закуска.

Перед тем как уйти на кладбище, к деду в боковушку завернул. Тот будто спал с открытыми глазами. Меня услышал по шагам что ли.

– Зайди, Анисим. Посиди да иди. Минуту всего. Может, живым-то уж и не застанешь...

– Ладно тебе, дядь Степан... Весна вон... Поживи... Могилку баушке Лизе поправим летом. Рыбкой-ухой покормлю...

– Может, и так, – и выдохнул протяжно: – Ладно уж, иди. Рыбки-то и впрямь твоей поисти охота...

Ну, думаю, оклемается дед. С тем и удалился...

Когда умер дедко, никто толком сказать не мог. Лизавету обмыли-обрядили, в гроб уложили. Посидел около неё и опять в комнатку ушёл. А когда хватились, спросить что-то у него, глядь, а он уж не дышит.

На следующий день, уже без помощников, расширил я могилку, чтоб поместились в ней оба милых мне «голубка» – баушка Лиза и дед Степан. И лежат они рядом с родителями деда Степана по одну сторону. По другую же сторону мои предки покоятся. Так вот получилось, что жили наши предки соседями долгие веки и упокоились так же ладно в своих домовинах.

«Вот бы и нам так живым. По-соседски мирно и ладно, – подумал, когда расходились с кладбища после похорон. – Только некому жить-то. Поразбежались. Собачимся, беснуемся. Знать оттого, что все у нас какое-то временное и ненадёжное. Обитаем и не ведаем с кем рядом по жизни идём и знать того не хотим. А уж на то, где и как упокоимся и во все плюём с высокой колокольни. Ладно ли так-то?»

Всё нажитое – дом со всем скарбом и козами и две «книжки», на которых в сумме чуть более восьми тысяч, старики оставили мне. Но хозяином всего этого по закону становлюсь я через полгода. Но всё это вместе взятое, даже отдалённо не могло заменить мне самих «мухоморешек»...

В июне приехали в Красногорье беженцы из Таджикистана – Василий и Анна с четырьмя детьми, из которых старшему было десять лет, а самой младшей дочке – едва исполнилось три годика. Отец Василия был родом из нашего Красногорья и всю жизнь мечтал вернуться, да не пришлось вот. Не дожил он до желанного возвращения несколько месяцев. Всё болел. Потому отъезд, как могли, оттягивали – жить было невмоготу, а оставаться опасно; бывший сосед – «новый бай» – положил глаз на их квартиру и, всячески намекая и угрожая, выживал бедную семью. После смерти отца получил Василий с «бая» какие-то гроши, которых едва хватило на билеты на поезд; собрал, что мог, и вернулся в забытые палестины. Здесь их никто не ждал, конечно. Но в доме баушки Лизы и деда Сте-

пана нашли они какой-никакой приют. Оба – и Василий, и Анна – были учителями, потому к новой жизни оказались совершенно неспособными.

Но шефство над ними взяли наши «несгибаемые могижанки», помнившие отца у Василия, с которым водились в детстве и ранней юности. Благодаря такой опеке беженцы всё же начали потихоньку обживаться. Анна уже и коз наловчилась доить, не боясь, что останется без молока. Василий, хоть криво-косо, приноровился сенокосничать. Я пытался помочь ему, даже косу пытался отнять у него. Но тот, упрямый, ни в какую. Ну, пусть его, пусть учится. Меня это соседство оживило малость.

«Худо-бедно, а детей у нас в деревне теперь почти столько же, сколько и взрослого населения, – думал. – А Лизочке и подружка даже есть Любушка».

Анна, переодевшись в баушкины халаты, перешитые-перекроенные, целые дни хлопотала по хозяйству. И, если первые недели в доме их стояла какая-то нежилая тишина, то со временем ожила усадьба. И смех иногда звучал детский; и Аннушка, увлекшись делами, нет-нет да пела что-нибудь своё восточное – по паспорту она русская, но больше в ней было от восточной красавицы, какие исполняют всевозможные «танцы живота» в фильмах о Востоке.

Мне полегче стало. И Лизочку оставить можно было на кого, чтоб уйти половить рыбку либо за грибами. Того и другого на «колхоз» много требовалось. Неожиданно и напарник объявился – Коля, старший сын «беженцев». Сначала он по берегу ходил за мной и смотрел, как я кручусь со своими «экранами». Когда я к берегу приставал, рыб разглядывал, переворачивая их с боку на бок, то в руки брал и смотрел, как те ртом воздух хватают. Меня так и подмывало выделить ему пару «экранов», пусть бы сам ставил-проверял их, покуда я курю на бережку. Но он не умел плавать, и это удерживало от того, чтоб предложить Коле порыбачить с лодки – мало ли что на воде может случиться, «баи» не извели, так здесь утонет... Всё же нашел выход – привязал один «экран», самый маленький, к длинной палке, как на удочку. Затем объяснил, как и куда снасть следует забрасывать. У парнишки глаза загорели-заблестели – всё, пропал бедолага, на всю жизнь болесь подхватил, по себе знаю. Если блеск в глазах дикий и неумный, быть болезному рыболовом...

С грибами посложней пришлось. Сколько раз приходилось корзину с грибами Колюшкину перебирать. Сядем на полянку, высыплю его грибы на траву и перебираю: который съедобный – обратно в корзину; который – тьфу, поганка! – в сторону его.

А вот мариновать и солить грибы пришлось самому. Да с помощью бабки Анфисы. Но та не особенно благоволила к нам – попросишь что, отказа не бывало. А чтоб самой прийти подсобить – нет. Видно ухайдалась, когда детей своих после войны подымала, безмерно, что не осталось сил ещё на кого-то. Не в укор ей вышесказанное. Спасибо, что на

просьбы откликалась – частые, к слову сказать. Хоть и, видно было, без охоты, но не отказывалась помочь делом ли, советом.

Если разбить повествование моё на главы, то название у всех можно выразить одним словом – «беда» и ещё порядковый номер каждой добавить. Но у этой, пожалуй, исключительное, более весёлое пусть будет...

Бывают и в нашем беспросветном царстве праздники. У Марины дочка вдруг объявилась и не одна, а с мужем – отцом «подкидыша» – Лёшкой. Приехали молодые, чтоб «облегчить» жизнь Марины, за сыном. Небольшое празднество по такому случаю состоялось. Мы с Лизочкой при сём присутствовали. Голубки не такими уж разгульными оказались, на мой взгляд. Обыкновенные, по-молодому бесшабашные ребятки. Лёшка, оказывается, в армии служил, а сейчас на службу в ГАИ (ГИБДД – по-нынешнему) определился. Любашка, дочь Марины, к торговле прибилась – единственному, пожалуй, в наших краях занятию, позволявшему худо-бедно существовать. Что ж, побесились малость голубки, по-своему, не по нашим меркам (последние, впрочем, во времена нашей молодости тоже весьма вольными считались) и остепенились.

Поближе к вечеру за молодыми «Жигуль» гаишный прикатил, и отбыли они в свою маленькую квартирку неблагоустроенную, с печным отоплением, с колонкой водопроводной на улице и «удобствами» там же. Но они сейчас в той жизненной полосе, про которую давно уже придумали поговорку – «рай в шалаше» я имею в виду.

Не суди меня строго, Боже. Ленушка, прости. Но остался я в тот вечер у Марины. И ей тяжко вдруг стало от обрушившегося одиночества, и мне от вдовства захотелось отдушины малой. Лизочку в Валеркину кровать уложили. Сами на кухне долго ещё сидели, чай распивали да болтали-вспоминали о годах школьных, всё удаляющихся и удаляющихся. Кто что делал, кто в кого влюблялся; за кем кто бегал-ухаживал. И в той полудетской круговерти любовной, когда «санька» любит «маньку»; «манька» любит «ваньку»; «ванька» любит «таньку»; «танька» любит «саньку», определилось и наше с Мариной место. И даже оказалось, что однажды, где-то классе в восьмом, Марина в той цепочке находилась впереди меня. Может, когда это выяснилось, уж следующий шаг было легче сделать к близости нечаянной...

Понутру, когда позавтракали, отправились мы с Лизочкой по берегу Еленки домой. Совесть или угрызенья какие-то меня не мучили – что случилось, то и случилось.

Дошли до березничка, в котором пару лет назад впервые увидел Ленушку. Так же сел на бережок, слушая реку – не осудит ли она меня за измену свершённую. Но Еленка была тиха и спокойна, как в обычные дни. Её струи так же переливались и сверкали лёгкими бликами; так же огибали бегущие полосы воды корягу, безобразными корнищами торча-

щую на перекате; так же прятались под ивовый венец на загибающемся плёсе. Не было вдоха, не слышалось упрёка в её размеренном движении.

Но долго слушать и взором пред Еленкой виноватиться не пришлось, Лизочка вдруг вздумала пчёлку, собирающую дань медовую с лугового клевера, схватить. Что это могло кончиться воплями и потоком слёз, ей невдомёк. Успел я, благо, стряхнуть покойную отрешённость вовремя. Потому «трагедии» не произошло.

Случись эта беда, и будет, как со мной – уколол в детстве ёрш руку до самой болезненной обидности, и заразился от его соплей бациллой рыбалки на всю жизнь. А если ребёнка в полуторагодовалом возрасте пчела ужалит, какие последствия будут? Здоровью вреда не будет – ясно. Но вот жизненный путь завернёт таким зигзагом, что диву дашься.

Мне же этого совершенно не хотелось, тем более собственной дочери, помня золотое правило изыскателей – упаси нас, Боже, от приключений, а то от них и так деться некуда.

После реки, сделав изрядный круг, завернули на кладбище на могилки дорогих людей. Лизочка на сей раз не скакала стрекозой, а сидела рядом со мной на лавочке и болтала нога-ми. Молчали. Я вглядывался в улыбающееся с фотографии Ленушкино лицо, и думал – какие же слова она сказала бы мне в этот миг. Но слов таких не находилось. Когда шёл на кладбище, воображал, что ветер и порохи деревьев своим шёпотом передадут мне слова порицания, обиды, а может, и оскорбления. Но утро было безветренным. Лишь соловей заливал застывший, будто кладбищенский покой, воздух своими трелями.

Тяжести на душе не было, радости тоже. Но какое-то неуловимое, неощутимое смещение во внутреннем равновесии горечи и печали было нарушено. Может, оттого, что жизнь наша не поддаётся никакой логике – математической или ещё какой, либо логика здесь своя, неподдающаяся смыслу и разуму, когда сумма двух одиночеств меньше одного одиночества. Странная эта мысль объяснила несколько то состояние, в котором пребывал в то утро. И самое главное, что не требовалось в подтверждение каких-либо оправданий лживых или честных...

Ещё одно летечко покинуло наше горемычное запустенье. Отблагодарило дарами своими и отдало на растерзание осени нашу жизнь. А осень тоже с подходцем своим, как российская власть наша - ваучерно умаслила бабьим летом, приласкала деньками ясными да солнечными, тихими и уютными, но после вдарила ветрами северными и дождями хлёткими-холодными; покуролесила снегами чахлыми по округам и умотала после вослед за птицами перелётными. Неприютно ей стало в наших краях.

Неприютно и нам в красногорском безделии да безнадёге глупой пребывать. Лизочка растёт; всё ей знать надо, всё расспросить; всюду, если не глаз, то нос сунуть надо, чисто лиса. Всё – то на язык, то рукой,

то на вкус попробовать норовит. Сказок требует да песен, а где я их возьму – хоть сам сочиняй.

Я же во всех этих делах пень пнем. Прямо, как дед Степан, который только и мог на ноге дитя качать да присказку при этом рассказать, мол, мишка-медведь, научи меня воздух портить, а то мёду не получишь... Всяко выкручиваться пы-тался: и книг с картинками понакупал, чтоб сама девка в те картинки вникала. И видеокассет приобрёл с десятков со сказками.

Но нет, всё равно что-нибудь да непонятно. И бежит – разъясняй, тятка, смысл нарисованного. Я не против этого, не раздражаюсь. Наобо-рот, иной раз так увлекаюсь, будто сам дитё малое. Но потом уходит эта весёлость, и опять в серость и скуку погружаюсь.

С Мариной как? Неопределённость. Два одиночества со своими болячками да осколками бывшего – разве можно из этого что-то путное склеить? Встречаемся, бывает, но что-то удерживает от полнейшего сближения.

Подумывать начал, не перебраться ли в райцентр. А то на пособия да проценты, которые упали донельзя, разве проживёшь? Пока, правда, сводил концы с концами: Лизочке каких-никаких каш да фруктов-овощей покупал, а сам чаем в основном перебивался. И, конечно, картошка с соленьями деревенскими – грибы, огурцы-помидоры, рыба. Лизочкину кашку ещё подчищал – не выкидывать же продукт калорийный да полезительный. В райцентре, думал, работу подыщу – не мужик что ли. За Лизочкой, решил, присмотр организую, няньку найму либо в детсад пристрою. Вот закончу страду огородную, расклад такой наметился, и переберёмся на городское житьё...

Но не в райцентр путь нам предстоял с Лизочкой. Совсем в другую сторону расклад лёг переехать нам, в иную даль дорога наша проляжет. Но в одном сошлось – по окончании огородных дел.

Отбурлила тихим половодьем Еленка. Привёл в порядок дорогие могилы Ленушки и деда Степана с баушкой Лизой. Огороды вспахали. Картошку садить, а тут письмо от Нины Петровны. Неожиданное и страшное. Ещё одна болезнь, ещё одна трагедия наметилась среди бесконечного бедствования людского. Прочитав это письмо, подумал, что нескончаемы эти беды людские; череда их подобна летоисчислению.

От беды до горя, от горя до беды. Так век свой и мается человек. И есть ли сила такая, которая может сокрушить несокрушаемое – течение судьбы, порой несправедливое и жестокое....

В письме своём Нина Петровна скупно и несколько наставительно-поучительно предписывала нам с Лизой всенепременно приехать к ним. Сообщалось далее в послании, что сама она болеет по женской части раковой болезнью; врачи её уверяют, с такой болезнью, бывает, до ста лет живут, но Нина Петровна не верит им.

Может, кто-то и доживает, но ей это не грозит – писала. Долго, мол, не протянуть ей, и Саша совсем один останется. Ещё сообщила: «...считала Вас, Анисим, ветрогоном и бездельником. Но, признаюсь, видимо, ошибалась. К тому же, выбора у меня нет. Потому приезжайте по возможности быстрее с Лизочкой к нам. У этих двоих детей – Саши и Лизы – кроме Вас никого не остаётся. Я Вас заклинаю, Анисим, помогите им. Я подобрала вариант обмена моей квартиры и Лениной на одну. Жильём, таким образом, вы все будете обеспечены. Как только приедете, свезём все вещи в одну квартиру новую; обустроим её. А там Воля Божья. Поторопитесь, Анисим. Я понимаю, что у вас огород, дом. Пусть кто-нибудь присмотрит за всем этим, если надо, заплатите. И поторопитесь...»

Что мне было отвечать? Разве оставался у меня какой-нибудь выход?

Плохо плыть по течению жизни. Но разве есть сила, чтоб выгрести супротив такого потока...

За домом и за всем прочим «беженцы» присмотрят. Там и телевизор, и книги. Даже с удовольствием это сделают (если уместно такое слово тут). И печь, если холодно будет или стены начнут отсыревать, протопят. И за огородом приглядят.

Хорошо хоть скотиной не обзавёлся, помня, как доказывал баушке Лизе невыгодность содержания ею коз. Смешное и курьёзное слегка красило нашу жизнь, и как тут не поведать о моём «финансово-экономическом побоище» с баушкой Лизой.

Дело в том, что дед Степан вообще козьего молока и продуктов из него произведённых – сметаны и творога – на дух не переносил; а сама же хозяйка стада по полгода постилась. Чтоб прокормить коз, мало сена накопить, надо ещё и постоянно прикупать у местных алкашей ворованный комбикорм и прочие присыпки. Сено, допустим, я бесплатно помогал запасти. За прочий же козий «приварок» приходилось платить баушке Лизе по полной программе, как наличностью, так и самой надёжной валютой – не долларами, конечно, куда им до конвертируемой во все и вся «поллитры». И вот на эту тему я и начинаю поучение-теорию излагать.

– Бауш, ты сколько на все присыпки-то в месяц тратишь?

– Рублёв двести, Анисим. Много, но без этого как?

– А если сено, которое мы заготавливаем, зимой продать, сколько можно выручить?

– Рублёв пятьсот... А то и поболее – смотря какое лето пред тем было.

– Понятно, – подытоживаю и перехожу в наступление: – А теперь смотри, баушка Лиза, сколько ты тратишь. Каждый месяц по двести рублей – за год две тысячи четыреста. Плюс сена твои ахиды деревянно-мясные на шестьсот рублей сжи-рают, а больше затаптывают. Итого три тыщи, согласна?

– Ну...

– Тебе сколько молока на день надо?

– Литру на два дня хватит, пожалуй...

– То есть поллитра на день, молока, я имею в виду. Полгода ты постишься. Таким образом, молоко ты ешь где-то двести дней в году. По поллитре в день – всего сто литров в год получится. А молочишко-то по чём продают?

– Кто три рубля просит за литру, кто два с половиной...

– Возьмём по максимуму – три рубля литр. Видишь, баушка, арифметика получается – тратишь три тыщи, а молока съедаешь на триста рублей.

– Так ведь сметанка... В борщ или во щи, – не сдаётся. – И творог...

– Ну пусть ещё триста рублей... Так давай, бауш, сено зимой продадим и пей бесплатное молоко. Согласна?

– Согласна...

Я уже радовался своей победе, душа так и пела в унисон экономической симфонии, уже трубы должны бы сыграть заключительный победный аккорд. Как вдруг...

Баушка Лиза тяжело вздохнула и обречённо, упрямо-козлинно произнесла:

– А как же в деревне без скотины-то? Опять же молоко своё... – так закончила первый круг сказки про белого козла.

Раз пять так или иначе возвращался к этой сказочке. Но результат был один – «ну как в деревне без скотины-то?».

Зло берёт, право, от бестолковости и дубоголовости иных умных и мудрых людей...

И в жизни «белый бычок» замутил головы и закружил, заметелил разум. И нет выхода, и нет выбора...

Но по ночам соловьи поют, по утрам солнце встаёт. Но жизнь, наконец, дадена «и прожить её надо так, чтоб не было...» Не смейтесь, не злорадствуйте. И мне Павка Корчагин идиотом безмозглым кажется. Но слова, будто им сказанные, поднимают Николая Островского со всеми его сомнительными идеалами, закорючками до высот пророческих...

Что оставалось делать? Поехали мы с Лизочкой на Север, две недели там пробыли. Обмен Нина Петровна оформила ещё до нашего приезда. Осталось только вещи с двух квартир в одну свезти, да расставить всё более-менее по своим местам. Ремонт небольшой сделали – что по силам да по мастерству было поправить. Затем вернулись с Лизочкой в Красногорье. Саша отказался ехать с нами. Хотя и очень желал того. Я не стал его уговаривать, дразнить рыбалкой, рекой. Зачем? Парню и так нелегко даётся недетская жертвенность – скрасить все дни до единой, последней минуты дорогого человека – бабушки Нины.

Оставшуюся часть лета мы с Лизочкой провели в Красногорьи. Иногда по мелочам, благодаря Марине, подрабатывал-подхалтуривал. Когда работы не было, просиживал на реке.

Незаметно прошли летние деньки. Отпели соловьи, не проносятся над рекой ласточки. Последняя забота – выкопать картошку – и всё.

Прощай, Еленка. Вернусь ли? Упокоюсь ли рядом с Ленушкой или в северную холодную землю лягу?

В последний день, когда синева неба стылым куполом высилась над покоящейся в увяданье бабьего лета землёй, отправились мы с Лизочкой проститься с дорогими местами.

Перво-наперво пришли на берег Еленки, где чуть более трёх лет назад увидел Ленушку. Как мало, оказывается, прожито во времени, но как много пережито. Потери. Потери. Потери. Нескончаем их ряд.

Лишь река всё так же отражает в зазеркалье омута вечную высь небесную. Всё так же тихо переливаются на плёсе, слегка поигрывают воды, искривляясь в печальное зеркало; и пережат, на котором обнажилась гуляющим горбом основная струя, также подмывает, будто подтачивает, ивовый куст, выныривает из-под него и, распрямляясь, теряется в глади следующего плёса. Как это похоже на жизнь. Вот она, глади в омут – жуть, неопределённость, но до чего всё в нём влекуще; вот плёс – тихая радость бытия; вот пережат – эх, гульнем, прокатимся с ветерком; и снова даль, а за ней другие омуты, плёсы, быстрины пережатов...

Думается легко, но печаль в думах; дышится привольно, но на сердце тяжесть; уходить надо, сколько ещё душу рвать. Но нет сил оставить это дивное запустение, угасание, увядание.

Лизочка рядом села. Смотрит на меня непонимающе, почему батько колодой каменной сделался.

– Поди, Лизочка, побегай по травке – когда ещё доведётся побегать так... – Не убегает, сидит рядом. И тоже на воду смотрит.

Притихла, серьёзной сделалась. В глазах что-то – то ли мука, то ли испуг. Может, виделись ей в темноте бездонных вод чудища сказочные. А, может, душа её пыталась разглядеть что-то в перевёрнутых высях, почерпнуть колдовского зелья тьмы...

Не выдерживаю этого камнепада дум и печали. Встаю. Лизочку за руку беру.

– Пойдём... Ещё к маме надо зайти...

Отошли сотню шагов, остановились. Я ещё раз оборачиваюсь, чтоб глянуть на речную полоску. Пять-десять шагов – и не видно будет вод Еленкиных. Прощай, Еленка, прощай. Может, свидимся ещё...

Скрылась, сверкнув на дальней излучине зеркалом вод, Еленка. Тяжело идти, но и вернуться тяжелее. Что-то осталось будто, на берегу. На небо вдруг взор обратил – синее-пресинее. И солнце теплом своим и лаской дохнуло, коснулось невидимой ладонью материнской.

Неделю уж, а то и более теплынь стоит, подумалось. И стих вспомнился неволью из дней ушедших, но недалёких.

Не будет ли завтра ненастья?
Устал я от солнца томиться...

Продолжение стиха выплыло из таинственного хранилища памяти, холодком печали обдало сердце, и смысл, ранее непонятый, в простых словах заключённый, глубоким показался, как откровение –

... устал в ожидании счастья,
ушедшему завтра, молиться...

Именно так... Вчера ещё не было счастья. А завтра его уже как не бывало. И где этот миг краткий между «ещё» и «уже»? Как уловить? Как определить его незримое присутствие? А то ведь как получается, вроде и было, а когда – не ведаю...

Кладбище. Осень. Тихо. Птиц не слышать. Увядание ещё не объяло деревья и кустарники желтизной, лишь редкие листья. А полузаброшенное кладбище ещё утопает в прощальной зелени.

Вот и могилки дорогие наши. Садимся на лавочку, с которой и могила деда и баушки Лизы видна, и Ленушка – вот её фотография, протяни руку, достанешь.

Лизочка серьёзна, даже печальна. Молчим, дочурка руку мою обхватила, в рукав вцепилась. Тишина. Сколько так сидим. Сколько слов-мыслей сказано дорогому человеку...

Смотрю на Лизочку, слёзы на глаза наворачиваются. Пленит и её печаль. Она их сперва не вытирает. Слёзы набухают. И когда начинают скатываться большими горошинами, рукой их пытается смахнуть-урезонить. А там уж новая слёзка набухает.

Больно... Невозможно... Прости, Ленушка, нет больше сил сидеть рядом. Лизочка совсем расплакалась. Один я бы и до завтрашнего утра сидел возле тебя.

Но Лизочка... Ей жить, ей надо жить. Зачерпнула она в душу столько печали в первые малые года... Хватит... Пока... Дай ей радости, Господи, детской.

Прощай, Ленушка. Мне тоже жить надо, такое вот наказание выпало. За двоих, за нас отдавать детям нашим Саше и Лизе всё, что есть у нас с тобой... Прощай, Ленушка. Об одном Бога молю, чтоб сил дал наших детей в жизнь вывести и рядом с тобой упокоиться...

Прощайте и вы, баушка Лиза и дед Степан...

...Нину Петровну похоронили в ноябре. Остались мы втроем в трёхкомнатной квартире. Первое время помогала нам по хозяйству её под-

руга Надежда Захаровна: и постирать; и обед домашний, а не бурду бичевскую, стоговит. Лизочка в детский сад ходить стала. Саша в школе в отличниках числился, сам уроки учил и всё прочее, что с учёбой связано, решал сам. Я бы и рад помочь ему, но как-то терялся.

В начале нынешнего года приехала к нам Марина. Я работу нашёл по вахте, опять к «хитрому глазу» (к геодезии, значит) пристроился. Надо на месяц уезжать, а детей не с кем оставить. Не Надежду же Захаровну впрягать в наш воз. Вот и пригласил Марину. Не отказала, приехала.

Всё ей в городской жизни в диво. И не только в хорошем смысле. Чего же хорошего, если наверху (считай, на потолке) алкаши буйствуют; внизу (в подполье как бы) меломан чертей гоняет под дикую музыку; за стеной рояль гаммы выводит да музыку на бестолковский лад. Но не сетовала. Потихоньку хозяйство в свои руки взяла.

Последняя запись сделана мною уже в балке строителей.

Не знаю, радоваться ли этой зыбкой определённости, которая вроде наметилась в жизни нашей, хотя и ходим «каждый по своей половине». Все, кроме Лизочки. Она этих «половиц» не признаёт и носится бесёнком, к Саше липнет. То тётю Марину теребит, то меня терзает своими вопросами, от которых у меня волосы дыбом – как ей ответить на вопрос о сексе с тётей Мариной. Трёхлетней девчужке? На былой манер что ли, дескать, в нашем доме образцового содержания секса нет...

Но всё же верится, что «половицы» – явление временное. И однажды мы втроём – Саша, Марина и я – улыбнёмся не только Лизочке, но и друг другу.

Ещё тот сон давний вспоминается про «смертную казнь» и «пятнадцать лет изыскательских работ». Два взаимоисключающих приговора вполне, оказывалось, уместны в нашей жизни, в нашей фантастически-беспутной стране. И если первая часть приговора «смертей» – Ленушки, баушки Лизы, деда Степана, Нины Петровны – приведена в исполнение, то впереди вторая его часть. И легче ли она? Может, не зря в сне том смерти для себя просил? Но теперь уж поздно менять «шило на мыло».

Нельзя покинуть теперь Лизочку и Сашу, как они одни останутся? А Марина? Её робкие надежды на то, что и она будет иметь какую-никакую семью, разве можно порушить?

Вот если б расшифровать тот сон. Заранее. И поправить, что возможно поправить; не совершать чего-то. Может, не было б такого двойственного «приговора»?

А, вообще-то, был ли «приговор»? Может, просто был глупый сон. А потом жизнь...

ВЛАДИМИР МАРЫШЕВ

ПО ДОРОГЕ В МЕЗОЗОЙ

Фантастический рассказ

Что ни говорите, а закон подлости всё-таки существует. Едва я запустил свою машину времени в прошлое, только-только откинулся на спинку сиденья и принялся мечтать о предстоящем трофее — тут это гнусное правило и сработало.

Сигнал ИТХК — Инспекции темпорально-хронологического контроля - ни с каким другим не спутаешь. Что за умник придумал этот мерзкий набор визгливых звуков? Дать бы ему послушать его часок без перерыва, запретив затыкать уши!

Чертыхнувшись, я остановил МВ и вылез из кабины навстречу неизбежному. Неизбежное уже стояло передо мной, одетое в форму старлея ИТХК. Это был жизнерадостный огненно-рыжий парень с круглой физиономией, щедро усыпанной разнокалиберными веснушками, и абсолютно бессовестными голубыми глазами. Заложив руки за спину, он пружинисто раскачивался взад-вперёд и при этом лыбился так, будто поймал главаря всемирной террористической сети. Неподдалеку возвышалась его МВ, а за ней не было ничего, кроме переливающейся радужной плёнки. Так он и выглядит - типичный хронопузырь, где нашего брата подстерегают эти потрошители в погонах...

- Старший лейтенант Саньков, - не убирая с лица улыбки, представился потрошитель. - Попрошу ваши документы.

Следующие минут пять он изучал мои права тщательнее, чем какой-нибудь очкарик-энтомолог — новый вид кукурузного вредителя. Вертел их перед собой, словно выискивая таинственные магические знаки, два раза засовывал в свой портативный сканер, тёр пальцами и даже, как мне показалось, был не прочь откусить краешек — вдруг материал поддельный? Всё это здорово напомнило мне басню «Мартышка и очки».

- Поздравляю, документы настоящие! - бодро заключил инспектор. Судя по тому, что он ничуть не расстроился, главная попытка была ещё впереди.

Марышев Владимир Михайлович родился в 1961 году в Йошкар-Оле. Автор 4 книг. Член Союза писателей России. Живёт в Йошкар-Оле.

Саньков обошёл мою красавицу Mitsubishi и аж языком прищёлкнул от удовольствия.

- Хороша машинка! Иномарки предпочитаете?

- А куда деваться? - ответил я ему вопросом на вопрос. - С нашими связываться — себе дороже. Мало того, что дизайн никакой, так ещё и темпоральное поле постоянно внутрь протекает. Нет уж, лучше я на японскую раскошелюсь, чем в нашей застрять где-нибудь между эпохами. Отвалится деталь, которую вместо четырёх ударов кувалдой подогнали только двумя — и привет! Будешь потом доказывать саблезубым тиграм, что ты патриот родной промышленности...

- Значит, решили оставить зверюг с носом? Ну, поздравляю ещё раз. Знаю эту модель — путешествовать в ней безопаснее, чем лежать в собственной кровати. Но дорогая — слов нет. В общем, жизнь у вас, похоже, удалась?

- Удавалась... пока с вами не встретился.

Он расхохотался.

- Да ну, не преувеличивайте! Не такой уж я страшный — просто очень ответственный. И принципиальный. А потому продолжим. Аптечка есть? Хорошо, уже вижу. Так-так... В какую эпоху собрались?

- Мезозойская эра, меловой период...

- Замечательно! Самый расцвет динозавров. А заодно - целой кучи вредных бактерий и разных простейших паразитов, которые потом вместе со своими хозяевами и вымерли. Повезло нам, верно? Но не дай бог притащить эту заразу в наше время — иммунитета же ни у кого нет, сразу эпидемия... Жуть! Так что давайте посмотрим, без каких препаратов в мезозое делать нечего.

Инспектор вынул карманный компьютер, вызвал нужный список и, словно смакуя диковинное слово, произнёс:

- Дизокрумол!

- Вот он, - я достал из аптечки и показал ему пузырек с жёлтыми таблетками.

- Вижу. Теперь — пероксиликсан!

Я человек основательный, а потому, чтобы такие вот щеглы не управляли жизнь, стараюсь предусмотреть любую мелочь. Но Саньков оказался невероятно упорным типом и не утратил оптимизма, даже дойдя до конца списка. Похоже, он и мысли не допускал, что может выпустить меня из своих лап так просто, не оципав.

- Компенсатор темпорального сдвига работает? Включите, пожалуйста. Так, хорошо. А в бортовом компьютере программа лицензионная? Позвольте, я проверю... Чудесно! А в багажнике что? Недозволенного нет? Некоторые, знаете, такое с собой в прошлое возят...

Производя свои манипуляции, инспектор не переставал улыбаться. «Всё равно нащупаю у тебя слабинку, - говорили его беззастенчивые го-

лубые глаза. - Думаешь, обо всем позаботился? Так не бывает, милоч, на чём-нибудь обязательно проколешься. Не первый год работаю, не таких ошкуривал!»

- Ну, а теперь перейдём к главному, - сказал он. - Цель поездки, конечно же, - охота на динозавра? Хотя чего я спрашиваю — по экипировке видно, что не на пикник собрались. Тогда позвольте вашу лицензию.

С какой радостью Саньков обвинил бы меня в преступных замыслах! Мол, подстрелишь ни в чем не повинную рептилию — и вызовешь такую лавину последствий, что весь наш привычный мир полетит вверх тормашками! Как тот болван из знаменитого рассказа, раздавивший доисторическую бабочку... Но здесь инспектору ловить нечего. Учёные уже доказали, что в далёком прошлом действует закон затухания этой самой лавины. По крайней мере, за десять миллионов лет до нашей эры можно творить что хочешь — до нас никакие изменения не дойдут. Вот ближнее прошлое — совсем другое дело, на то оно и под запретом...

- Хорошую бумагу оформили. - Почему-то старлей не спешил возвращать мне лицензию. - Уважаю таких... дотошных. Каждая буква на месте, каждая циферка... На трицератопса, значит, идёте?

- На него.

- Да... Зверь серьёзный, даром что травоядный. Рога такие, что мама моя!.. Один знакомый как-то на этого монстра охотился, так тот из него только чудом кишки не выпустил. Больше в прошлое не ездит: всё, говорит, хватит судьбу испытывать...

Инспектор в очередной раз — наверное, десятый — пробежал глазами лицензию.

- Подождите-ка, - сказал он. - Тут вот дата охоты указана: 4 мая 68 355 620 года до нашей эры. Правильно?

- Ну и что? - не понял я. - Дата как дата.

- Э, нет! - возразил старлей. Лицо его, и без того не хмурое, буквально озарилось, а веснушки засияли, как начищенные. - Давайте-ка сверимся с моим компьютером. Так-так... Точно! Весной трицератопсы выводят детёнышей, и охота на них запрещена! Что вы на это скажете?

Сначала я подумал, что он шутит.

- Да вы что, инспектор? Кого они выводят? Кладут яйца и тут же забывают про них, а детёныши сами вылупляются! Это же какой-то недоучка в своё время написал. А потом нашлись чинуши и приняли его фантазии за руководство к действию. Да и все эти даты — такая условность... Тогда ведь даже Земля вертелась быстрее, и в году было то ли на две, то ли на три недели больше!

- Молодец! - с чувством произнёс Саньков. - Вы меня прямо растрогали своими познаниями. По естественным наукам — твёрдая пятёрка! А вот насчёт законов... Тут, увы, двоечка. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот закон. У него есть номер и дата. Принят умными людьми.

Можно сказать, лучшими из лучших - мы ведь сами их выбирали, правда? А про вращение Земли тут ничего не сказано. Мы должны следовать этому закону, даже если она закрутится со скоростью волчка!

Наступило молчание.

«Какой гад, - думал я. - Редкостный мерзавец! Подловил-таки... Вот уж точно: всё можно предусмотреть, кроме одного — никогда не знаешь, что выкинет дурак. Примет какой-нибудь идиотский закон — и ты уже не умник, а последний лох!

- Хорошо, - сказал я, - не буду охотиться весной. Какие проблемы? Выйду из машины летом, осенью, зимой... Идёт?

- Ни в коем случае! - Инспектор покачал пальцем, словно втолковывая очевидную вещь несмышлёному пацану. - В лицензии что написано? Май! А она — Документ! С большой буквы! Может, те, кто её выдавал, не читали последний закон — гадать не буду. Их дело — бумаги писать, а моё — следить, чтобы всё написанное исполнялось.

На меня накатило чувство безысходности. Вместо того, чтобы продолжать выкручиваться, я зачем-то устоял на правый ботинок Санькова. И подумал: как будет хорошо, если на него наступит трицератопс! Нет, лучше бронтозавр...

- Так что же мне прикажете делать?

Он ткнул пальцем в свой нагрудный жетон с эмблемой службы, которую окружали по периметру большие оранжевые буквы «ИТХК»:

- Знаете, как это расшифровывается?

Я насторожился. Просьба была, мягко говоря, странной и могла означать подвох.

- Вам какую версию — официальную или?..

Рыжий мучитель махнул рукой:

- Да зачем же официальную, давайте свою, водительскую.

- А не обидитесь?

- Ни капельки. Ну, говорите, что означают эти красивые букочки.

Я набрал полную грудь воздуха и, глядя прямо в его голубые бесстыжие глаза, медленно и чётко произнёс:

- Инспектор тоже хочет кушать.

- Вот! - Саньков многозначительно поднял указательный палец, словно подтверждая незыблемую истину. - Наконец-то мы добрались до сути. Осталось только сделать правильный вывод.

- Сколько? - мрачно спросил я.

- Пятьсот, - ответил он с садистской улыбкой, за которую мне захотелось его убить. Причём изощрённым способом — доставить в эпоху, когда ещё по всей Земле плевались лавой вулканы, и сбросить в жерло одного из них.

Я отсчитал деньги и молча протянул инспектору. Он покосился на них, как бы прикидывая, допустимо ли продавать честь мундира за та-

кую скромную сумму. Но, разумеется, продал, подтвердив тем самым крылатое выражение: «Рождённый брат — не брат не может!»

- Приятно было познакомиться, - сказал этот кровосос, отправляя несправедно нажитое во внутренний карман. - Счастливого пути!

Я забрался в машину и нажал все положенные кнопки — кроме последней, запускающей её в хронопоток.

- Могу ехать?

- Да, пожалуйста.

- Тогда несколько слов на прощание. Что-то мне расхотелось в мезозойскую эру. Как вам известно, мой бортовой компьютер может рассчитать дату любого события. Даже момента, когда ваш уважаемый дедушка сделал предложение не менее уважаемой бабушке. Ситуация классическая, но мне некогда перебирать варианты.

Саньков, как ни странно, всё ещё не понял.

- То есть?...

- То есть постараюсь сделать так, чтобы они разбежались в разные стороны и больше никогда не встретились!

Когда человека доводят до точки кипения, он уже себя не контролирует. Вряд ли, остыв, я выполнил бы свою угрозу. И всё же того, что произошло с инспектором дальше, мне не забыть никогда.

Он вздрогнул, затем вытянулся, как жердь, рыжий чуб поднялся дыбом и словно выцвел, а веснушки поблели и стали практически невидимы, будто осыпались со щёк.

- Сто-о-ой!!! - страшным голосом заорал служитель хронопорядка и метнулся к МВ в невероятном, прямо-таки вратарском броске.

Конечно же, он опоздал на долю секунды. И после этого (я почти уверен!) его жизнь превратилась в ад...

ЮЛИЯ ЦВЕТКОВА

С ДУШОЙ, РАСПАХНУТОЙ ДО ДНА

* * *

Вот и осень пришла,
Разметав целый ворох сомнений.
Что осталось ещё,
Что однажды ушло навсегда...
Я поймаю твой взгляд
В нескончаемом вихре мгновений
И его не остудят
Суровой зимы холода.

Будет осень не раз
Уходить – в том сама неизбежность.
Я его пронесу
Через долгие годы разлук.
Вспоминать каждый раз
Наших встреч бесконечную нежность,
И до боли знакомый
Изгиб твоих чувственных губ.

Мои годы, как ты
Коротки, запоздалая осень,
Торопливо бегут
Друг за другом своей чередой.
Пусть загадочно манит
К себе нас небесная просинь,
Не грусти, я ещё не спешу
Распрощаться с тобой.

Цветкова Юлия Васильевна родилась в 1936 году в Горьковской области. Член Союза писателей России. Автор 7 стихотворных сборников. Живёт в п. Медведево.

И БЫЛО СЛОВО

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города...
Николай Гумилёв «Слово»

И было слово... лишь оно
Рождало образы и чувства.
Звучал на сцене и в кино
Язык великого искусства.

Вот слово – клич. Звала труба...
Звенели сабли, копья, стрелы.
В походах вечная борьба,
Но песни пели менестрели.

Язык любви, звучал маня,
Прекрасным чувством озарённый,
А без него прожить и дня
Не смог бы ни один влюблённый.

Он и лечил и убивал,
И с тайным смыслом изречённый
Больных с постели поднимал,
Казалось, вовсе обречённых.

Уходят в прошлое века,
Уносят всё с собой незримо,
А без родного языка
Всё знать - уму непостижимо.

И в час прощальный и немой
У заколдованного круга
Не будь тебя, язык живой,
Не слышен был бы шёпот друга
У той ступени ледяной.

ИСПОВЕДЬ

Глядит толпа замороженная –
Пришел черед судить меня.
Стою перед ней обнаженная,
С душой, распахнутой до дна.

Пороки, тайные желания...
Нет, не найдете вы во мне.
Я их сквозь слезы и страдания
Сожгла на жертвенном огне.

И не осталось сожаления,
О чем жалеть: всему - своё,
Ведь в том костре самосожжения
И есть спасение моё.

АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ

ПРИВЯЗАННЫЙ

Рассказ

Лёд становился долго в этот год. Вначале по берегам образовывались хрусткие кружевные закраины. По ним было видно направление токов речной воды. В местах беспокойных, с обратным течением, лёд был белесый и словно закручивающийся в какую-то спираль-воронку. Там, где струя шла вольно, не встречая препятствий, лёд чернел лежащей под ним глубиной. Он был совершенно прозрачным. Серебряным от инея морозным утренником река трещала, вспарываемая трещинами, но постепенно сдавалась и становилась тихой, словно засыпала. Для полноты невозмутимого ландшафта над ней уже кружил одинокий ворон. Казалось, ничто уже не нарушит предзимний сон реки, но приходили сырые ветра с мелкими морозящими дождями, и тогда быстрая вода пробивалась сквозь молодой лёд, который чернел уже все новыми промоинами. Так повторялось неоднократно.

Но в одну из ночей вдруг задул ледяной ветер, и блестящая от дождя земля сразу стала стеклянной. Ветер стонал и бился в окна до утра. С рассветом он стих, и открылся светло совершенно другой мир, беспредельно широкий и прозрачный. В закуржавленных инеем лугах лежала морозная дымка, горизонт отодвинулся и был золотисто-алым. В краснороннице рябин ёжились пухлые снегири, вертя любопытными головами на собачий звонкий лай, висящий в неподвижном воздухе. Пахло дымом и холодной травой, местами ещё зелёной, но схваченной до звона первым морозцем. Река встала в ледовом изумлённом оцепенении, была черно-прозрачна теперь уже от берега до берега.

Тимофей не усидел дома и, знобясь от нетерпения, стал поутру собираться к реке – проверить крепость льда.

– Ты куда, Тимка? – сонно окликнула его Анна, тёплым уютным зверьком выглянувшая из-под одеяла.

– Спи-спи, любопытная. Я скоро, малышка.

Токарев Александр Владимирович родился в 1959 году в Йошкар-Оле. Автор 2 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Йошкар-Оле.

– Скоро... Знаю я тебя, - вроде укорила жена и уже сквозь сон залепетала что-то сладкое и бессвязное.

Тим, стараясь не скрипеть половицами, вышел из дома, и, прихватив из сарая пешню, спустился с высокого берега. Потыкав ледок у песчаной косы, проскользил к яме-заломине, оставляя след на инистом льду реки. «И здесь схватило... Порядок!..» – бил пешней Тимофей, словно в чёрную воду, но вода змеилась трещинами и становилась белесой от каждого удара. «Сантиметров пять будет, удержит...» – про себя что-то мурлыкал довольно Тим, и на душе у него было прозрачно и тихо, как был прозрачен неподвижный воздух вокруг.

«На большую воду рано, – думалось Тимофею. – На озеро надо, окуней подразнить».

Водохранилище тоже было во льду, но местами пятнилось чёрными дырами – промоинами. Там прели старые пеньки и мелководья – бывшие заливные луга. Дальше, к Волге, видно было, как гуляют неестественно серые валы с пенящимися барашками. Вода была холодной даже на вид. С фарватера и судового хода ещё слышалось рокотание дизельных движков.

К озеру надо было добираться на автобусе, в сторону города, от вылизанных ветрами утёсов правобережья Волги, низинных перелесков и ельников левого берега, к сосновым звонким борам приволжья. Они, эти вечно гудящие боры, прятали в клюквенных болотинах и багульниках неглубокие междюнные озёра, чёрные от торфяной воды. Над озёрами высились песчаные бугры, где под ногами хрустел выбеленный мохсфагнум, густо синели кусты гонобобеля. Но, несмотря на мелководье, в некоторых из озёр, как писали послевоенные газеты, обитали когда-то щуки-топляки за тридцать килограммов весом...

Тиму верилось и не верилось в этих крокодилов на два пуда, но однажды сам видел, как матёрая щука, сама чуть не с лодку, перепрыгнула через капроновую сеть-трёхстенку, оставив после себя волну, качнувшую его ботник.

В озёрах водился чёрный окунь, живший под низкими берегами, но в редких песчаных мелководьях жировал по осени другой – светлый полосатый горбач. Тимофей сам ловил окуней не тяжелее двух килограммов с гаком, но слышал от местных, что бывают и до трёх кило... Эти окуни брали только на своих мелких собратьев. Любую другую мелкую рыбёшку давили лишь окуни с ладонь-полторы ладони, редко крупнее. Отворачивались горбачи и от искусственных обманок.

Времена пришли другие. На озёрах били током недоумки из местных, для пропитания, и пришлые при должностях, так, для развлечения... И уже стали попадаться окуньки, состоящие, кажется, из одной головы, блестящих глаз и высохшего тела... Тиму приходилось забираться всё дальше и дальше в боровую крепь, сторонясь накатанных дорог.

...Озеро было залито красным, и от этого света лёд был прозрачно золотист и блестящ. Он потрескивал под ногами и едва заметно прогибался. Тимофей забрал правее, в южную сторону. Под оранжево-зелёным густолесьем сосняка лёд был толще, укрытый от настойчивого солнца.

У сухого камыша, впаянного в лёд, Тим пробил несколько лунок и, не отчерпывая ледовую кашу, торопясь, опустил блесенку в чёрную воду. Обманка белым мальком юркнула подо льдом в сторону и тут же была кем-то схвачена. Это ощутилось по удару, от которого согнулся сторожок-кивок. Несогласная тяжесть осела в руке и толчками забилась на леске. Тимофей выводил рыбину, как впервые, словно каждый раз не веря происходящему, в забытой за лето новизне перволедея, первородья нового Начала, пронзительно знобкого воздуха и стеклянного на убыли солнца. Плеснуло в лунке, показался яркотелый горбач с закушенной в уголке рта блесной, а потом изумлённо замер на гладком льду, подрагивая алыми плавниками... Жёлто-выпуклые глаза с острыми точками зрачков отразили высокое заозерье. Крепкое тело выгнулось, и окунь забился нервно и сильно, поблескивая кристалликами ледовой крошки, прилипшей к чешуе. Но, полежав на льду, он осунулся и поблек, теряя живые краски. Ещё один окунь, испуганной возней на прозрачном льду, взял не сразу и более осторожно. Блесна несколько раз поднималась ко льду, останавливалась, замирая, у дна, и кивок, наконец, дрогнул. Потом окуни стали брать азартно-торопливо, один за другим, словно боясь упустить минуты дневного яркоцветья. Окуни сухо бились на льду и были похожи на свежий букет цветов на синем инее...

На обратном пути автобус был полупустым. Ехали рыбаки, в основном – пенсионеры. И разговор их был расслабленно тих, словно звуки дребезжащих струн. Тим задремал в мягком тепле, под убаюкивающий рокот мотора и шелест неторопливой речи стариков. Но как-то незаметно он начал прислушиваться к разговору.

«Ну и вот, – тихо рассказывал один из рыбаков. – Мы-то уже на берег выбрались, хотя и Вовка пару раз провалился. Но так, искупался больше да испугался. До пояса нырнул и, как пробка, обратно вылетел, словно его пиранья за мягкое место прищемила... А тот, что с «уазика-буханки», далеко отстал. Может, выпимши был, может, просто сил не хватило. За день-то, наверное, не один десяток километров нарезали?.. А он всё за нами ходил, как привязанный. Неопытный, видимо, рыбак. Думал, мы на рыбу наведём. К завершению рыбалки и сдал человек. С компании он не с нашей, поэтому ждать не стали, не маленький... А метров за сто от берега провалился он. Там уже неглубоко было, ему по горло. Встал он на дно и кричит: спасите, мол!.. Сунулись мы несколько раз, но лёд тонкий, как бумага... Он-то не по нашему следу шёл, а стороной. Как специально выбрал гнилой лед, чайник!.. Ну, мы сперва не придали значения этому, искупался, да и все дела. Сам вылезет, мол.

А потом смотрим, не может выбраться. Опять попытались подойти, но Жилин Серёжка тоже провалился, матом изошёл донельзя, а за ним уж никто не решился к рыбаку подобраться. Так стояли на берегу и смотрели, как тот замерзает, стоя на дне. Человек ещё какое-то время звал на помощь, потом всё тише и тише был голос. А скоро и совсем замолк... Только спустя какое-то время, когда мороз ударил, и лёд прихватило покрепче, Вовка подполз к утопшему и привязал его к палке, которую во дно вогнал. Это чтобы потом не искать тело, если под лёд уйдет. В МЧС-то уже позвонили... »

Тимофей слушал неторопливого рассказчика и чувствовал, как в висках опять начинает стучать, и наваливается уже знакомая слабость, пришедшая недавно и ставшая привычной. Одновременно лицо вспыхнуло от нездорового жара и простой человеческой злости... Тим представил себе человека, пронизанного болью от ледяных игл, вонзающихся в тело. Представил страх и одиночество тёплого ещё живого существа, погибающего рядом с такими же живыми, тёплыми и разумными, полными сил существами, безмолвно наблюдающими за его Уходом... Минута за минутой чувствовать, как жизнь покидает тело... Всё происходило рядом с берегом, рядом с людьми... Только протяни руку... Тимофей сам когда-то тонул, и помнил боль, нелепость, ужас и обречённость происходящего в те минуты, ставшие вечностью... Он не выдержал и, едва сдерживая неприязнь, выдохнул:

– А что, нельзя было подползти к человеку, когда он ещё был живой?..

Рассказчик опустил глаза.

– Лёд был тонкий...

– Нарубить жердей, настелить гать, протянуть жердину, бросить веревку?.. Подползти цепочкой, держась друг за друга?..

– У нас не было топора и верёвки, и лёд был тонкий...

Рассказчик отвернулся. В автобусе наступила тягостная тишина. Слышно было только, как уже по-подлому скулит движок, надсаживаясь на подъёмах, бьётся в окна сухая снежная закруть, и монотонно постукивает о ледобур чей-то дюралевый ящик...

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ

ЗАКУСИ ГОРЕ ЛУКОВИЦЕЙ

Повесть

Посвящается участникам
локальных войн и их жёнам

Эта история произошла с моей давней знакомой. Я был свидетелем и участником лишь некоторых описываемых здесь событий. Одно из них запечатлено на фотографии. На фоне буйно цветущего куста розы, опирающегося на обветшалый штaketник, молодая пара. Он в военной форме сидит в инвалидной коляске, выглядит радостным и взволнованным. Она в зелёном, охваченном пояском шёлковом платье, стоит рядом. Её изящная рука уверенно покоится на его плече.

Мужчина худоцав, тёмноволос, с чуть зауженным смуглым лицом, украшенным тонкими чёрными усиками. Глаза и густые с крыловидным изгибом брови – тоже черные, лоб открытый.

Взгляд серо-зелёных глаз невысокой женщины спокойный и тёплый. Безупречный овал лица, тонкие изогнутые брови, кожа с лёгким загаром, фигура стройная. Её вьющиеся каштановые волосы зачёсаны за уши. Именно эта милая женщина в один из самых драматических периодов своей жизни и рассказала мне многое из того, чего ранее я не знал. А встретив моё горячее сочувствие и узнав о желании написать обо всем услышанном, она любезно предложила мне свои дневниковые записи той поры.

И теперь мне лишь остаётся восполнить некоторые пробелы в этом повествовании и, в меру своих способностей попытаться пересказать эту, на мой взгляд, весьма любопытную историю.

Николаев Валерий Владимирович родился в 1953 году в Ленинграде. Автор 2 книг. Член Союза писателей России. Живёт в Йошкар-Оле.

Я – ЖИЗНЬ

Однажды из Чечни в обычную городскую больницу, по какой-то никому неведомой причине, доставили партию раненых. Ребят вывезли прямо с поля боя. Один из них, офицер, был в критическом состоянии: обе его ноги буквально расплющены. Ещё были пулевое ранение в плечо, ссадины и ушибы. Повязки и жгуты, наложенные наспех – в крови и грязи. Сам он – в травматическом шоке. Пульс едва прощупывается.

На его посеревшей крепкой груди холодно поблёскивал офицерский жетон, сделанный в виде скруглённой иконки с изображением ангела-хранителя и выбитым внизу вместо имени личным номером. А помощь этому находящемуся на краю гибели малоизвестному Л – 914568 сейчас была очень кстати.

Без промедления начали готовить его к операции. Сделали местную анестезию, обработали раны; на кровоточащие сосуды наложили зажимы, занялись переливанием крови и плазмозаменителей.

Было ясно, что ноги не сохранить, ибо кости раздроблены, ткани размозжены на большом протяжении. Усечение конечностей для раненого тоже могло оказаться смертельным, но это был его последний шанс.

Когда стабилизировались артериальное давление, пульс и дыхание, начали операцию.

"Да, отвоевался парень, – подумала Лихачёва Зоя, молодая хорошенькая медсестра. – Ох, и велика же плата за жизнь! И его семье теперь не позавидуешь – хлебнут лиха".

Операция шла долго и завершилась благополучно. Пулю извлекли, ноги ампутировали выше коленей. Швы наложили аккуратно. Да иначе и быть не могло, ведь оперировал сам Терентьевич, за глаза называемый Верной Рукой. Раненого поместили в реанимационную палату.

Зоя уже не раз собиралась уйти из операционных сестёр – психика на пределе, – да всё что-то останавливало её. И вот сразу после этой операции она решила окончательно: уйду.

Заведующий отделением, Николай Иванович, человек в годах: седой, грузный, величественный, строгий и вместе с тем добрый, принял у неё заявление, терпеливо выслушал её и сказал:

– Что ж, Зоя Николаевна, устала от крови, говорите? Ну, устала, так устала. Восемь лет – срок немалый. Спасибо. Вы неплохо справлялись. Жаль, конечно. Но хорошо, что о своей замене побеспокоились. Палатной сестрой пойдёте?

– Пойду, – ответила она.

– Хорошо. Только у меня к вам будет одна просьба.

– Слушаю вас, Николай Иванович.

– Меня тревожит исход операции Некрасова. Вы бы не смогли некоторое время присмотреть за ним?

– Не беспокойтесь. Я подежурю около него.

– Ну, вот и славно.

Вечером она зашла в палату к раненому. Комната была светлая, двухместная. На тумбочке лежала медицинская карта, Зоя заглянула в неё: "Некрасов Владимир Митрофанович, капитан, тридцать лет".

"Вот уж не думала, что он мой ровесник", – удивилась она. Придвинула стул к его изголовью, присела и, глядя на него, невольно задумалась.

Его заострённый нос, впалые щеки, мертвенная бледность, проступающая сквозь светло-серую щетину, наводили на мысли о бренности человеческого существования. Несмотря на различия своих жизненных принципов и целей, исключительность заслуг и дарований или полную никчёмность, все, так или иначе, движутся в одном направлении. Кто-то обгоняет других, кто-то отстаёт, а некоторые погибают, едва начав своё путешествие. Попытки отдельных незаурядных людей сопротивляться существующему порядку вещей нередко приводят их к ещё более преждевременной усталости и смерти.

"Так что же такое жизнь? – думала Зоя. – Если это дар Божий, то почему тысячи случайностей могут легко погубить её? Как странно.

Человеческая жизнь подобна выпавшей на листок росинке. Внезапный порыв ветра, упавшая сухая ветка, зверёк или птица могут незначай стряхнуть её, и она тут же впитается в землю. Если же ей суждено дожидаться солнца, то эта прозрачная капелька в мгновение засияет волшебным бриллиантовым переливом. И чем больше будет падать на неё света, тем она будет таинственней и притягательней. Однако же ей недолго суждено удивлять мир: яркое солнце быстро высушит её. Чудо, увы, быстротечно".

По несколько часов в сутки Зоя просиживала у койки Некрасова. Но он в себя так и не приходил. Леонид Терентьевич порекомендовал ей разговаривать с ним. Но о чём говорить с незнакомым человеком? И уже со следующего дня Зоя начала читать ему вслух "Анжелику". Прочла первую книгу, начала читать очередную. И вот на исходе второй недели в одиннадцать утра Некрасов начал приходить в сознание. Услышав шевеление, она привстала. Его воспалённые веки подрагивали. Лицо ожило: мимика была такой, будто он уже начал осматриваться, но почему-то забыл открыть глаза. И вот, наконец, его ресницы с видимым усилием разлепились.

Взгляд Некрасова, отстранённый, затуманенный, будто опасаясь соскользнуть вниз, упёрся в потолок. Вероятно, его мысли с трудом пробивались сквозь ватную пелену беспамятства. Зоя склонилась над ним так низко, что не увидеть её было нельзя. Некоторое время он ещё продолжал смотреть "сквозь неё", затем глаза его стали проясняться, наполняться удивлением. Он облизал пересохшие губы:

– Я слышал... что смерть – неприятная... дама, а ты – красивая.

– Я не смерть, а жизнь, – возразила Зоя.

– Жизнь?.. Хорошо, – облегчённо выдохнул он. И, словно привыкая к этой мысли, умиротворённо закрыл глаза. Но вдруг, как от толчка, снова открыл их. – Что со мной?..

Сестра положила руку ему на грудь.

– Не волнуйтесь. Всё хорошо. Вам сделали операцию. И всё самое ужасное позади. Отдыхайте.

Тогда она так и не смогла сказать ему, что он остался без ног. Об этом Некрасов узнал позже, от врача. И с тех пор стал ужасно нервничать. Длительное время он температурил, иногда терял сознание и бредил. Его горячечный бред обжигаяще действовал на нервы девушки. Владимир почти всегда попадал в одну и ту же ситуацию – босым бежал в атаку, командовал, ругался и стонал.

"Проклятье! Сколько же здесь битого стекла, – шептал он. – ...Брагина, Брагина прикройте!.. Давай, мальчик, давай! Вот так... молодец. Жорка, бьют перекрёстным. Не отставай!.. Вот же твари чумные... по нормам прячетесь? Ну, погодите. Мы вас выкурим! Всю погань выкурим! – гневно восклицал он. – О-о! И тут колючки, – скрежетал зубами Некрасов. – Когда же это кончится?"

Однажды Лихачёва задремала и очнулась от его страстной мольбы: "Потерпи, миленькая, потерпи. Пожалуйста, потерпи. Я спасу тебя... спасу... спасу..."

Глубоко и часто дыша, он весь напрягся. Потом на какое-то время затих. Его короткие волосы взмокли от пота и напоминали ежовые иголки.

"Прости меня, девочка... прости".

Его сбивчивый шёпот, невнятное бормотание, хриплые выкрики и стоны леденили сердце. У человека уже три недели не было ног, а он всё воевал. Ирреальность его подсознательных представлений вывела девушку из привычного состояния душевного равновесия.

Думаю, не открою большого секрета, если скажу, что у медиков, работающих в хирургии, травматологии или на скорой помощи и часто видящих предсмертные муки людей и утешающих их в такие роковые минуты, со временем изначальная чувствительность и сердечная жалостливость притупляются. Природный инстинкт заботливо предохраняет их души от саморазрушения, вырабатывая что-то вроде иммунитета к чужой боли, или, говоря жёстче, – профессиональный цинизм. И это оправдано самой жизнью: ведь нельзя же им умирать с каждым, нельзя расслабляться – нужно спасать.

Но дежурство Зои у постели Некрасова сделало её причастной к его боли. Было ясно, что это именно боль, а не какой-то конкретный противник и вызывала у него такую непримиримую ярость. Именно она и была сейчас его самым серьёзным и беспощадным личным врагом. Инъекции промидола давали ему передышку, но память снова погружала его в страдания.

У физической боли есть одна характерная особенность – доминировать над всеми помыслами человека; для него в данный момент нет ничего важнее, чем избавиться от неё. А когда она, наконец, покидает его, тут-то на смену ей и приходит мука другого свойства – душевная, не менее настырная и жестокая.

Так было и с Владимиром. Когда физическая боль потеряла свою пульсирующую остроту и стала привычной неизбежностью его существования, некоторое время он благодумствовал. Казалось, дела у него уже пошли на поправку, и вдруг проявился его психологический надлом. Потеплевший было взгляд снова стал тусклым, отчуждённым. Капитан подолгу замыкался в себе, не реагируя ни на что, отказывался от еды. Сёстры смотрели на это как на капризы, а Зоя – как на отказ от жизни.

Некрасов, конечно же, заметил её особое отношение к нему и временами, когда оптимизм ненадолго возвращался, был с нею вполне откровенен. Так она и узнала некоторые подробности его жизни. Детство он провёл в Грозненском детдоме. Однажды, прочитав книгу о полководце Суворове, стал мечтать о военной карьере. Учился он неплохо и при конкурсе шесть человек на место в училище поступил. В браке был менее года, развёлся. До направления в последнюю командировку жил в общечитии при части.

И теперь она понимала, какая лавина страшных своей неразрешимостью вопросов обрушилась на него. Как примириться со своим увечьем? Чем заниматься? Где жить и с кем? – Было от чего волноваться: ни дома, ни семьи.

Насмотревшись на муки Некрасова, Зоя уже не могла избавиться от однажды посетившей её мысли, что некоторые вожди, с лёгкостью посылающие под пули молодёжь, по сути, становятся виновниками массовых убийств. Если бы они держали ответ за каждую искалеченную или погубленную при их участии жизнь, то стали бы обдумывать свои слова и решения так же тщательно, как Бог взвешивает грехи человеческие.

В отделении имелось несколько инвалидных колясок, и с некоторых пор на одной из них стали возить Владимира. Сначала Зоя вместе с санитаром помогала ему перебраться в неё на час-два в день, потом ему стало хватать и её помощи. Постепенно коляска становилась повседневным средством передвижения Некрасова. Его мышцы на руках стали наливать, тело крепнуть – молодость брала своё. Однако у Лихачёвой появилось смутное предчувствие, что он боится своего выздоровления. Это дурной знак. И она рассказала об этом Леониду Терентьевичу. А тот сделал Некрасову кое-какие назначения и направил его на приём к психотерапевту Калюжному.

Апрельское солнце своим ласковым ликующим светом успокоило и расслабило Владимира. В ожидании встречи он сидел в ординаторской

в своей коляске и благодушно осматривался. Вскоре появился врач – улыбчивый худощавый мужчина лет пятидесяти. Он был выше среднего роста, чуть сутул и неуклюж. Густые серые волосы, мысиком наползающие на лоб с тремя глубокими поперечными морщинами, едва не касались столь же густых бровей. Его нос, словно с чужого лица, был достаточно велик, глаза – водянистые. В его облике, движениях было что-то медвежье. Зоя почти не знала этого врача.

– Сегодня у нас – как в солярии, – приветствуя, протянул он руку Владимиру. – Как у вас дела? Говорят, на поправку идёте. Настроение, небось, весеннее? Или не очень?

Проговорив всё это густым твёрдым голосом, он снял с себя светлый с болотным отливом пиджак и набросил его на спинку стула. Затем выдвинул стул и, плотно усевшись, внимательно посмотрел в глаза капитану.

Некрасов лениво пожал плечами.

– Понимаю, – заметил врач, – со мной тоже иногда случается депрессия, хотя веских причин для этого у меня вроде бы и нет.

– Вот именно. Зато у меня есть, – сказал Некрасов. – Как-никак именно меня укоротили на целых семьдесят сантиметров. Это ли не причина для скверного настроения?

– Тут я не спорю: беда есть беда, – сказал Калюжный. – И, тем не менее, при всём трагизме вашего положения, позволю себе заметить, с людьми случаются вещи не менее страшные, чем с вами. Миллионы людей прожили свои жизни, так ни разу и не увидев солнца, не услышав ни единого звука, не сделав ни одного шага по земле. И у них хватало мужества достойно пройти свой путь. Попробуйте и вы избавиться от жалости к себе.

– Доктор, только не надо морали, – поморщился Владимир. – У меня от неё в мозгах глючит. Знаете, я ведь не трусливого десятка, но повода для оптимизма, хоть убейте, не нахожу. Дело в том, что в этой жизни мне буквально не за что зацепиться. У меня нет ничего и никого. Так какой же её смысл?

Калюжный подался вперёд.

– А теперь, капитан, послушайте, что я вам скажу. Во-первых, смысл своего существования каждый задаёт себе сам. Во-вторых, за тридцать лет своей жизни вы немало ходили, ездили, повидали, многому научились. На сегодняшний день у вас есть образование, навыки, мозги, руки. Это приличный капитал. Кроме того, вы молоды и в остальном здоровы, – я смотрел вашу медкарту. А месяца этак через три-четыре здоровье ваше восстановится, и вы сможете начать активную гражданскую жизнь. У вас будет возможность не только овладеть новой специальностью, но и создать семью, и я уверен, вы сможете стать хорошим отцом. Если вы всегда будете помнить, что счастье возможно и что ваше будущее зависит только от вас, гарантирую, достигнете любой желаемой цели.

– Вашими бы устами... Однако... должен признаться, это ранение настолько всё изменило – мои возможности, мир вокруг меня; в такую смуту повергло мою душу, что мне не только мечтать, но и думать о будущем не хочется. Счастье, как я понимаю, это вообще редкая вещь, а для меня теперь и вовсе – химера. Нет, я, определённо, отмечтался.

– Глупости, – с раздражением возразил врач. – С мечтой никогда нельзя расставаться, даже с самой невероятной, – и он, как бы ненароком, скосил глаза в сторону Зои. – Порой необъяснимым образом совершается невозможное – мечта сбывается.

Щёки у Владимира порозовели. Калюжный неожиданно перешёл на ты:

– Так что, капитан, я тебе по-дружески советую: закуси горе луковицей и живи дальше. И смелее смотри в будущее. На днях я загляну к тебе ещё.

Они распрощались по-доброму. Зоя отметила, что встреча была отнюдь не напрасной. Только уж очень не понравился ей недвусмысленный намёк доктора. Претенденты на руку и сердце у неё и так не переводились. Но она от них хотела нечто большего, чем то, что они могли ей предложить. И, по крайней мере, в её планы никак не входит связать свою жизнь с калеккой.

"А Некрасов-то, оказывается, и краснеть умеет. С чего бы это? Он явно был смущён то ли бестактностью доктора, то ли тем, что тот угадал его мечту. Вот ещё не хватало!"

Дня через три на улице значительно потеплело, и Зое разрешили вывезти Владимира на прогулку. Не без труда одевшись, он перебрался в коляску, а лифт доставил их на первый этаж.

И вот они на улице. Как странно – ещё не распустились почки, не было первой грозы, а воздух уже так ароматен, что нужно совсем немного воображения, чтобы представить себя посреди цветущего луга. Об этом девушка и хотела сказать Некрасову, но, взглянув на него, поняла, что и он испытывает то же самое.

Свернув с тротуара на грунтовую дорожку, ведущую вглубь сквера, они тотчас попали в другой мир. Колеса катились по влажной земле мягко-мягко. Каждый сделанный шаг приносил удовольствие.

Время близилось к полудню. Сквер был буквально затоплен золотым светом. Щебет стоял неумолчный. Возле скамейки на небольшой прогалинке они остановились. Зоя присела. До больничного корпуса – рукой подать, но он остался у них за спинами и словно перестал существовать. Шум автомобилей и завывание троллейбусов на соседней улице молодым людям тоже не мешали, всё осталось где-то там, в грубой реальности.

Медсестра смотрела на Некрасова и не узнавала его. С полусонным, глуповато-счастливым выражением лица он с интересом наблюдал, как скворцы из покосившегося линиялого скворечника выселяют воробья. Обычная история.

– Вот жизнь! – горьковато усмехнулся Владимир. – И тут жилищные проблемы. Перетерпела птаха морозы, полуголодное существование, а теперь, нате вам, курортнички заявились – и пожалуйте вон! Всё как у нас. Зоя, может быть, вы мне подскажите, отчего всё так нелепо устроено, что за всё надо драться, и порою – насмерть?

– Не знаю. Может быть, это необходимое условие эволюции?

– Похоже на то, – вздохнул он. – Но не глупо ли улучшать общество таким примитивным способом как ведение войны?

– Кажется, вы переходите в стан пацифистов?

– Вы имеете в виду – "переползаю"?.. Нет-нет. Защищать Родину – это привилегия и обязанность мужчин. Так было и так должно быть. И всё же часто думаю: до чего же неумно я распорядился своей жизнью... Мечтал, что у меня будет хорошая семья, будет уютный, мною построенный дом, замечательный фруктовый сад... А прожил свою жизнь как-то начерно – в суете и нервотрёпке. Думалось, всё ещё впереди... вот отвоюю – и заживу по-человечьи. И вдруг очнулся, а жизнь моя уже отстучала, как ритуальный барабан.

– Ну что вы о себе всё в прошедшем времени говорите? И не стыдно?.. Мы же стараемся вернуть вас к нормальной жизни. Вот заживут ваши раны, закажете себе хорошие протезы, и у вас всё ещё будет: и свой дом, и семья, и сад.

– Ну, это вряд ли... Порою мне кажется, что происшедшее со мной не случайно; появившись у меня возможность начать всё заново – скорей всего я бы понаделал тех же ошибок. Потому что до сих пор не знаю, что для меня важнее: уберечь совесть от мук или тело от ран. Цена высока... пожалуй, даже слишком.

– Это не пустяковый вопрос, согласна. Ошибки неизбежны, тем более что никто или почти никто не знает, в чем же всё-таки смысл жизни? Только ли, как я до сих пор полагала, в стремлении человека к полной гармонии?

– Не уверен. Опять же, и гармонию каждый из нас представляет по-своему. Одному для её обретения нужны учебник по эстетике, библиотека классики и фонотека, другому – только сбалансированное питание и спортивные снаряды, третьему – молитва и пост.

– Что ж, у каждого из нас свои представления о жизни, и поэтому все мы ошибаемся по-своему, а ещё – ушибаемся, и чаще всего о свои принципы.

Лихачёва замолчала. И тут Владимир неожиданно спросил её:

– Зоя, простите за неловкий вопрос, а вы были замужем?

– Нет, – как-то слишком уж буднично ответила она.

– Всё дело в принципах?

– Похоже на то, – повторила она его фразочку.

– Вы такая... симпатичная, умная... н-не понимаю.

– Я и сама не понимаю. Как-то один из моих приятелей при расставании сказал мне, что я слишком холодна, и он опасается замёрзнуть возле меня. С тех пор, мне кажется, я стала ещё холоднее.

– Да не придавайте вы значения всякому вздору. Это он от досады, конечно, наговорил, от обиды на вас. Знаете, когда я вижу безупречно сложенного человека, почему-то всегда возникает уверенность, что уж у него-то непременно всё в порядке, и кажется невозможным, что такой человек может страдать от одиночества или чьего-либо невнимания.

– Это иллюзия, – сказала Зоя. – И мой личный опыт тому доказательство. Не знаю почему, но мужчины, те, что приятны мне, попросту избегают меня. А ухаживать за мной пытаются или умные женоподобные дядечки, или инфантильные с растительной психологией мальчишки. Отчего так происходит?

– Не представляю, – вымолвил Некрасов. – Но иногда красота и отпугивает. На острове Ява, например, растёт чудный цветок – примула королевская. Когда люди видят её распустившейся, их сковывает панический страх, потому что она растёт высоко в горах и расцветает только накануне извержения вулкана. Может быть, и у ваших тайных поклонников есть какие-то причины остерегаться вас? Или всё дело в чрезмерной рассудочности?

– Пожалуй.

– Так она в любви не помощница, по себе знаю. Казалось бы, с интересным, способным к размышлению человеком всегда удастся найти общий язык. Но, нет. Разумно размышлять и принимать благоразумные решения далеко не одно и то же. Здесь лучше довериться интуиции. Говорят, в ней проявляется накопленный нашими предками опыт.

– Знаете, Володя, в общем-то, я догадываюсь, что мне мешает. – Думаю, моя излишняя категоричность в суждениях и поступках. Но я не могу быть другой. Родители – и те сбежали от меня в Уренгой, деньги зарабатывать. Квартиру здесь купили и опять уехали. Теперь у меня есть всё необходимое... всё, кроме такого пустячка, как счастье.

– А скажите, Зоя, с кем-нибудь из ваших приятелей вы пробовали поговорить откровенно?

– Это ни к чему. Они и так лезут в душу, не вытирая ног. Это я с вами разоткровенничалась, как с попутчиком в поезде. А с ними – нет, бесполезно.

– Спасибо за доверие.

– Лихачёва! В ординаторскую! – крикнули у них за спинами.

– Подождите, пожалуйста, я кого-нибудь пришлю к вам, – сказала она.

– Не обязательно.

На "пятиминутку" Зоя шла с лёгким сердцем. Какое-то странное, давно забытое ощущение владело ей. Мимоходом она отправила к Некрасову его соседа по палате Марченко.

А на следующий день она узнала, что после окончания её смены привезли саженцы клёнов. В их посадке, вместе с другими выздоравливающими, участвовал и её подопечный Некрасов. Он придерживал деревце за ствол, а его сосед засыпал корни землёй. Это не просто факт, а симптом к выздоровлению.

Когда Зоя спросила Владимира, какая в том была необходимость, он ответил:

– Я так подумал: коль не суждено мне построить дом и вырастить сына, так посажу хоть несколько деревьев – всё не напрасно жизнь пройдёт.

Дня через два случилась одна неприятная история, впрочем, для Зои – две. Только она заступила на ночное дежурство, как тут же к ней начал клеиться дежурный врач. Он был молод, смазлив и нахален, с устоявшейся репутацией ловеласа. Девчонки, увидев, что он не отстаёт от неё ни на шаг, стали хихикать:

– Антоша опять начал свои брачные танцы. Пропала ты, Зойка, уж этот парень пока не добьётся своего – не отступит.

Всё это её очень разозлило. И когда в перевязочной этот самоуверенный красавчик вдруг положил свою руку ей на грудь, Зоя влепила ему такую увесистую пощёчину, что тот пошатнулся. Глаза его заслезились.

– Ты... ты... ты чего?! – вскричал он. – Ненормальная, что ли? Так ведь и ушная перепонка может лопнуть!

А она, трясущаяся от негодования, чуть ли не прошипела:

– И не только перепонка. Вам повезло, что у меня в руках не оказалось бутылки с микстурой.

– Тебе к психиатру нужно обратиться!

– А вам – к хирургу, чтобы ручки поукоротили.

Врач, взвинченный до предела, круто повернулся и выскочил в коридор.

В тот вечер дурное настроение Зою уже не покидало. И вот новая неприятность. Перед самым отходом ко сну она зашла в девятую палату. Некрасов, увидев её, приподнялся на локтях.

– О, наконец-то вы и к нам заглянули. А то уж мы стали подумывать, что в чем-то провинились перед вами.

Она, обозначив на лице дежурную улыбку, прошла мимо него к накануне прооперированному старичку. Предложив больному термометр и одарив его таблетками, Зоя направилась к выходу.

Отгадав её намерение по уже отсутствующему выражению лица, Некрасов шутливо взмолился:

– Зоенька, ну уделите нам хоть минуточку своего внимания.

И, воспользовавшись тем, что она проходила мимо, неожиданно свесился с кровати и в последний момент уцепился за рукав её халата. Но она, ещё не остыв от недавно пережитого унижения, не остановилась, а с

раздражением рванула из его пальцев рукав, и тут же услышала глухой удар упавшего на пол тела. Сердце испуганно сжалось. Она обречённо оглянулась. "Боже! Вот ведь дура! Я ж его с кровати сдёрнула". Все больные напряжённо приподнялись.

Почти швырнув на ближайшую тумбочку поднос с лекарствами, Зоя бросилась к Владимиру. Он был без сознания. Тут подоспел и Марченко. Вместе с ним они с трудом подняли бесчувственное тело на кровать. Пока Марченко бегал за нашатырным спиртом, Зоя с тревогой осматривала Некрасова: уж не ударился ли он виском? Слава Богу – нет. На левой культе Владимира, на бинтах появилось алое пятнышко. Вот куда пришёлся удар. "У него раны и так плохо заживают, а тут ещё я добавила ему боли", – корила она себя.

Прибежал Марченко.

– Что-то вы, Зоя Николаевна, резковато сегодня с нашим кэпом обшлись: выдернули его из-под одеяла, как сосиску из кожуры.

Лихачёва закусила губу. Смоченная нашатырём ватка дрожала в её руках. Некрасов очнулся, наморщил лоб:

– Что это со мной?

– Это, друг мой, – любовь, – с наигранной важностью пояснил Марченко. – Когда заступает на смену обожаемая мной Галюня, я тоже периодически теряю сознание.

Больные заулыбались. Зоя, чувствуя ужасную неловкость, выхватила из нагрудного кармашка халатика клочок ваты и стала поспешно высушивать им выступившую на лбу Владимира испарину.

– Прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть. Сегодня совсем не владею собой. Извини.

Поправила его одеяло и вышла. А потом, уйдя подальше от всех, от души поплакала. Обида, словно ржавая муть, осела. И стало легче.

Вскоре раны у Владимира зарубцевались, и он стал вполне обходиться без чьей-либо помощи. Вращая руками вспомогательные ободки колёс, Некрасов целыми днями раскатывал на коляске по скверу. Их с Зоей беседы как-то сами собой прекратились. И вот пришло время отправки его в санаторий, а там и на постоянное место жительства.

Владимир погрустнел. Было видно, что предстоящие перемены его не очень радуют. Да и у неё на душе отчего-то стало неуютно, слякотно.

"Устала, что ли? – размышляла Зоя. – Видимо, и мне в своей жизни пора что-то менять. Может быть, в отпуск съездить?.. На море, например. А что, неплохой вариант. И на билетах можно сэкономить. Ведь всё равно Некрасову сопровождающий нужен. А я и в отпуске уже полтора года не была, и отгулов у меня, если сеном брать, целый воз будет. Надеюсь, к моему предложению с пониманием отнесутся".

Все вышло почти так, как она и предполагала. Всё, кроме сроков: через две недели Зоя должна быть на работе – дефицит кадров. Ну и то неплохо. Три дня спустя Лихачёва и Некрасов были полностью готовы

к путешествию. К Владимиру вернулось хорошее настроение. С утра он простился с товарищами, переделся в военную форму. И вот они уже на пути к вокзалу.

НА ЮГЕ

Санаторий находился на самом берегу Чёрного моря. Устроив Некрасова в одном из корпусов и пообещав изредка навещать его, Зоя не спеша направилась в посёлок. За воротами санатория был небольшой стихийный рынок. Несколько сельчан продавали жареные семечки, черешни, пучки зелени, редиску и даже хлебный квас с плавающим в нём изюмом. Картонные коробки здесь использовались как прилавки.

Завидев девушку с вещами, женщины стали наперебой предлагать ей остановиться у них. Они настойчиво расхваливали свои флигельки и сарайчики. Зоя по очереди выслушивала условия проживания, улыбалась, кивала хозяйкам, говорила, что подумает, и шла дальше. С годами у неё появилась устойчивая рыночная реакция: чем настойчивей навязывали ей товар, тем меньше ей хотелось его купить. Ещё и на продавца посмотрит: если тот опрятен и улыбчив, то, скорей всего, она что-нибудь купит именно у него.

Особнячком от всех стояла сухонькая до черноты загорелая женщина. Волосы цвета мокрой соломы подстрижены под короткое каре. Если б не её тяжёлые натруженные руки и жилистая шея, ей с лёгкостью можно было бы дать лет сорок. Женщина вскинула на девушку свои голубовато-зелёные глаза и молча улыбнулась. Зоя обратилась к ней:

– Извините, вы тоже сдаёте жильё?

– Да, милая, – просто ответила она. – Только места у меня и в доме хватит. Есть козы, курочки, огородик. И от санатория недалеко. Если тебя что-то не устроит, то сменишь квартиру без всяких проблем. У нас уже третий сезон пляжи полупустые.

– А мне отдельное жильё и не нужно, – сказала Лихачёва. – Я согласна.

И они, взяв по сумке, направились к посёлку. Несколько минут спустя о своей хозяйке Зоя знала уже многое. Зовут её тётя Маша. Дети взрослые, живут на Дальнем Востоке и приезжают к ней раз в два года. Ей бывает скучно, и она изредка пускает кого-нибудь на постой.

Они остановились у небольшого свежевыбеленного дома. Сразу за калиткой – чистый уютный дворик с великолепной виноградной беседкой и роскошной яблоней, прислонившейся к летней белоснежной кухоньке. Под яблонею стоит старенький стол, покрытый весёлой в голубой цветочек клеёнкой. Возле него пара стульев, тоже очень старых.

– Здесь так хорошо! – воскликнула девушка. – Как у моей бабушки. Хозяйка улыбнулась.

– Пойдём, дочка, я тебе огород покажу, там как раз абрикосы поспели.

Зоя, избавившись от вещей, поспешила за тётёй Машей. И одного взгляда на огород было достаточно, чтобы понять, что хозяйка она аккуратная и работающая, а этот год в отношении урожайности – весьма благодатный.

Два абрикосовых дерева густо усеяны крупными оранжевыми с красноватым налётом плодами. Тяжело опустили свои длинные ветви груша и поздняя яблоня. Персиковое и айвовое деревья тоже усыпаны плодами. Вдоль забора – шеренга слив и вишен.

– Боже мой! Да у вас тут как в раю! – воскликнула Зоя. – Мне ни разу в жизни не довелось бывать в таком замечательном саду.

– Ну, вот и славно. Живи как дома, кушай всё, что понравится, чай не обеднею.

Девушка, растроганная непонятной ей щедростью, бросилась к тётё Маше и поцеловала её в смуглую щеку.

– Спасибо! Я постараюсь вас не огорчать.

В доме было уютно. Вещи – только необходимые. Всё, кроме цветного телевизора, напоминало ей о её детстве: радиола с двумя коробками пластинок, круглый стол, сервант с чайным сервизом, низкий диванчик и книжный шкаф, доверху забитый старыми истрёпанными книгами.

– Что, Зоенька, удивляешься моему отношению к книгам? – перехватила она взгляд своей гостьи и пояснила: – Это всё из библиотечного фонда. Обветшали больно, вот и списали их. А я не отказалась, когда мне предложили. Старые книги, как и старые люди, выглядят неважно, а мудрости в них – предостаточно.

– Мне у вас всё нравится, – искренне призналась Зоя. – Если моей семье будет суждено жить в собственном доме, то хотелось бы, чтобы в нём дышалось так же легко, как и в вашем. Да и сад хорошо бы вырастить похожим на ваш.

– Ну что ж, дай Бог. А сейчас, милая, давай почаёвничаем с тобой, а за чайком и поговорим.

Пока она расставляла посуду, накладывала загустевшее варенье, резала батон, чайник переливисто засвистел. Из дорожных запасов Зоя достала баночку сыра и горстку карамели. Чай сели пить под яблоней.

– Тётё Маша, меня сам Бог привёл к вам. Я уже так давно не сидела в хорошей компании. Нет, честно. Дома – одна, на работе – не расслабишься, а по кафе и ресторанам ходить не в моих привычках. Только сейчас и поняла – как же я устала от такой несуразной жизни.

– Ну, поняла и хорошо. Сделать правильные выводы – уже полдела. А что ж, Зоенька, подружку не заведёшь? Если не с кем поделиться радостью – то и радости не почувствуешь, а горе придёт – одной носить, недолго и надорваться.

– А с подружками, тётя Маша, у меня все разладилось, – посетовала на судьбу Зоя. – Издержки переходного возраста. Девчонки, с которыми я дружила, замуж повыходили, и теперь стали избегать меня: боятся, что могу понравиться их благоверным. Так что на подруг я не в обиде.

Хозяйка успокаивающе тронула её за руку.

– Вот и правильно. И не переживай, придёт и к тебе любовь. Умной девчонке нелегко найти подходящего парня. По правде говоря, искать себе интеллектуала совершенно не обязательно. В семейной жизни приходится очень о многом говорить и меньше всего о вещах возвышенных. Если у вас полное совпадение мыслей, вкусов, пристрастий – подумай: чем же вы будете интересны друг другу?

– Вы хотите сказать, что связав свою судьбу с человеком достаточно ограниченным, я ничего не потеряю?

– Вполне допускаю, – улыбнулась тётя Маша.

– Но это же противоречит логике! Выйти за такого замуж – это всё равно, что обречь себя на прозябание. Нет. На то мы и разумные существа, чтобы своего избранника подыскивать равного себе по разуму.

– Искать себе жениха или невесту своего уровня или достатка – типичное заблуждение образованных людей. Они почти всегда ищут их в своём узком кругу и, порою, не находят не то что своей любви, даже хорошей дружбы. Вот и заключают браки по расчёту. А потом всю жизнь притворяются, изображая то восторженные эмоции, то безудержную страсть, то любовь... Типичное заблуждение. Это я как психолог утверждаю, – неожиданно вырвалось у неё.

– Вы – психолог?!

Видя её неподдельное изумление, тётя Маша рассмеялась.

– Да, Зоенька. Все пенсионеры когда-то чем-то занимались. И я работала в этом самом санатории. Если ты не против, я завершу свою мысль.

– Конечно-конечно. Буду рада услышать вашу точку зрения.

– Так вот. Одна моя подруга была заведующей загсом и всю жизнь занималась научной работой. Она лично беседовала с теми, кто желал вступить в брак, и с теми, кто хотел расторгнуть его. Накапливая и анализируя информацию, она, ни много ни мало, пыталась выстроить модель беспроблемного брака. Но выводы были столь противоречивы, что выходить на защиту диссертации было не с чем. В любви все непредсказуемо и почти необъяснимо. По каким-то немислимым приметам, невидимым движениям души люди узнают друг друга. И очень часто вопреки всем условностям и запретам, преодолевая различия в возрасте, социальном положении, вероисповедании и образовании, становятся счастливой семьёй. Неравные браки беспроблемными не назовёшь, но в этих семьях, как правило, не возникает соперничества. В них сам собой решается вопрос лидерства, и хоть кто-нибудь из двоих способен вести домашнее хозяйство.

– Так ли всё это важно?

– В семье всё важно. Я знаю одну пару: оба прекрасные музыканты, эрудиты, но в быту беспомощны, как младенцы. Добавь сюда их честолюбие, упрямство и взаимное раздражение от общей неустроенности: текущих кранов, сломанных вещей, невкусной пищи. Не жизнь, а беда. Разве не жаль этих людей?

– Тётя Маша, вы хотите сказать, что их брак – ошибка? И если они сейчас разведутся и создадут новые семьи, она, к примеру, со слесарем, а он – с кондитером, то станут счастливее?

– Обязательно. Но при одном условии, – подняла палец хозяйка, – они женятся по любви.

Зоя улыбнулась:

– Существенная оговорка. Так всё-таки, тётя Маша, в чём смысл вашего подхода к поиску того самого единственного человека?

– Ничего хитрого. Для начала ничем не ограничивай свой выбор. Искать свою половинку нужно не спеша, и не просто высматривать, а подбирать её всеми органами чувств. К голосу рассудка прислушивайся только тогда, когда можешь надеться на глупостей, зато сердцу своему нужно доверять всегда. И ты не ошибёшься.

– Да, – вздохнула Зоя и растерянно улыбнулась, – действительно, ничего хитрого.

Чаепитие закончилось, но вставать из-за стола не хотелось. Ветерок кружил запахи трав, моря, задумчиво шелестел листвою.

– Знаете, все свои школьные годы я прожила в посёлке у бабушки. Когда заканчивала учёбу, думала: вот сдам все экзамены, вырвусь в город из этой сонной глуши и сразу стану счастливой. Прошло более десяти лет... может быть, я зря уехала тогда?

– Никто, моя девочка, не знает, где найдёт своё счастье. И не сокрушайся по этому поводу. Лучше расскажи мне, кто у тебя в санатории лечится. Кто-нибудь из родных?

– Нет, тётя Маша, безногого офицера привезла я, – в Чечне воевал.

– И что же с ним случилось? На mine подорвался?

– Нет. Он был тяжело ранен, ноги ампутировали. Я сама была на той операции... Расплющенные, как пустые пожарные шланги... Страшно вспомнить.

– Ну и не вспоминай, дочка, думай о хорошем. Пойдём, я тебе покажу твою кровать. С дороги не грех и отдохнуть.

– С удовольствием.

Через несколько минут, наскоро разобрав вещи и умывшись, Зоя наслаждалась покоем на низенькой деревянной кровати. В распахнутое окно доверчиво заглядывали розовые клематисы.

"Всё-таки я очень устала", – прошептала она. И ей показалось, что эта мысль уснула вместе с ней.

Наступило утро, и Зоя из вчерашней медсестры превратилась в отдыхающую. Завтрак был классическим: козье молоко и яичница. Самых коз она пока не видела, после дойки тётя Маша увела их пастись.

Взяв с собой несколько абрикосов, девушка отправилась на пляж. Он оказался довольно узким, но вполне благоустроенным. Ещё не было и девяти, а торговые точки уже работали. Под выгоревшими на солнце цветными зонтами продавали мороженое, газировку, чебуреки, а чуть поодаль дымили мангалы.

Народ понемногу подтягивался. Зоя получила топчан, присмотрела себе местечко, расположилась. Через пару минут пошла купаться. Вода показалась холодной. Но вокруг все плескались и ныряли. "Значит, и я смогу". Втянув живот, она решительно пошла на глубину. И вот море подхватило её и закачало на волнах. "Так вот ты какое... самое синее в мире". Плавать было интересно и вместе с тем страшновато: ей постоянно хотелось убедиться, а не уносит ли её от берега.

В конце концов, этот нелепый страх выгнал Зою на берег, и она тут же залегла загорать. Какое же это блаженство! Едва витавший ветерок приятно охлаждал тело. Но утреннее солнышко уже щедро раздаривало своё ласковое тепло. Её бледная кожа жадно впитывала этот благодатный золотой свет. Подставляя солнцу то один бок, то другой, Зоя с интересом наблюдала за прибывающими курортниками. На её глазах совершались любопытные метаморфозы. Очень часто под элегантною умело скроенной одеждой обнаруживались куда менее изящные тела. Но случалось и наоборот, когда за невзрачным облачением таилось совершенство.

Однако больше всего ей нравилось наблюдать за детьми. Какие же они все интересные, особенно малыши. Почти всегда в одних панамках, с запесоченными попками и кривыми пухленькими ножками. А какие у них забавные рожицы, ещё не умеющие притворяться и скрывать своё невероятное любопытство. "Боже! Как же я хочу родить себе такого же чудного малыша!" – не раз мечтала она.

Прошло три дня. Дважды в день Зоя бывала на море. В самый солнцепёк пряталась в тени, читала. У тётя Маши ей жилось так же вольготно, как и дома. В утренние и вечерние часы Зоя старалась хоть чем-то помочь ей по хозяйству. Она научилась доить коз и делала это с неведомым ей до сих пор наслаждением. Для животных нужно было запастись траву, и Зоя с хозяйкой рвали её то на огороде, пропалывая картошку, то добывали её где-нибудь за посёлком. И всегда, всегда разговаривали. Зоя даже и не подозревала, как много накопилось у неё вопросов, на которые ей хотелось бы узнать ответы. В чем же всё дело? Может, в её личной нестроенности?

Сегодня Зоя идёт к Некрасову. Как он там? Ждёт, наверно. Взяла с собой большой пакет абрикосов и направилась в санаторий. Владимир нашла на террасе сидящим в компании трёх товарищей. Один из них

дремал, двое других играли в шахматы, а он сам читал какую-то затаканную книгу с небрежно заштопанным корешком.

– Здравствуйте, – приветливо поздоровалась она со всеми.

Мужчины встрепенулись, заулыбались, ответили на приветствие.

– Здравствуйте, Зоя. Спасибо, что вспомнили обо мне, – улыбнулся и Владимир. – Как устроились? Хорошо ли отдыхается?

– Замечательно. Хозяйка у меня чудесная. Море тёплое. Загораю, книжки читаю. А у вас как дела?

– Тоже неплохо. Процедуры, беседы. Вот на беллетристику потянуло, – прикоснулся он к книге.

– А что это? Вижу, из приключенческой серии.

– Да. Сабатини. Одиссея одного знаменитого пирата. Хорошо отвлекает. Люблю эту книгу с детства. Вам бы она тоже понравилась.

– Думаю, ошибаетесь. Драки меня никогда не интересовали.

– А я готов поспорить с вами, что эту книгу вы прочитаете с интересом. Только, чур, не лукавить.

– Обещаю. И вызов принимаю. А на что спорим?

У Владимира блеснули, было, глаза и погасли.

– Давайте так, – раздумчиво начал он, – два дня даётся вам на прочтение, и если я ошибся, не приходите ко мне ещё три дня; в случае же верности моего прогноза, эти дни вы будете навещать меня ежедневно. Согласны?

– Согласна. А вы разве уже прочитали её?

– Да. Это я перечитываю некоторые места – продлеваю себе удовольствие. Книга ваша.

– Хорошо. А это для вас – гостинец от хозяйки.

– Тронут вниманием, – Некрасов взял пакет, заглянул в него. – От такой прелести отказаться просто невозможно.

Угостив фруктами своих приятелей, Владимир предложил Зое прогуляться по парку. Она, разумеется, согласилась. И они вдвоём отправились скитаться по тенистым аллеям санаторной зоны. Ели абрикосы и болтали обо всем на свете. "Странно всё-таки, – думала Зоя, – мне с ним легко, как с братом. Может быть, в какой-то предыдущей жизни мы были родственниками? Или всё это влияние субтропического климата?" Как оказалось, почти о том же подумал и Владимир.

– Зоя, мы с вами сегодня так много разговариваем, словно только вчера сняли с себя многолетний обет молчания.

Она улыбнулась ему.

– И, действительно, словно плотину прорвало.

Прогуляв часа три, они расстались. Зоя ушла с его "Одиссеей". Кстати, книга оказалась интересной и прочиталась на одном дыхании. И теперь, если бы девушку спросили, о чём она, та бы не колеблясь, ответила – о любви.

ДИОМЕД

С девяти утра, по Зоиному распорядку, купание. И она идёт на пляж. Подтащив топчан к своему излюбленному месту – здесь на ослепительно жёлтый песок напоздаёт отрадная для глаз узористая зелень птичьего горца, – Зоя расстелила махровое полотенце и, сбросив голубой шёлковый халатик, помчалась в воду.

И все-таки плавать в море ей не очень нравилось – куда лучше в речке. Там не надо принаравливаться к волне, опасаться, что тебя далеко унесёт от берега, и страшиться каких-то мифических акул или электрических скатов. Поэтому её купание в море было, как правило, непродолжительным. Уже через каких-то пять минут она устремилась к берегу. И тут её приостановил насмешливый бархатистый голос.

– Вы уже накупались или нашего моря боитесь?

Обладатель этого баритона ещё только заходил в воду. Он был в трёх шагах от неё. Уверенный, красивый, словно бог. Черные, как смоль, вьющиеся волосы, бакенбарды, окаймляющие скулы, исключительно правильные черты лица, великолепно сложенный бронзовый торс. "Диомед", – с суеверным трепетом отреагировало её сердечко.

– Оно не только ваше, но и моё, – уточнила Зоя. – И если я выхожу, значит, накупалась.

– Извините за неловкость, – сказал незнакомец, – Бесспорно, вы правы.

Не найдя что ответить, Зоя кивнула ему и пошла загорать. Дойдя до своего топчана, она против обыкновения села и стала смотреть на море. Глаза сами отыскивали кудрявую голову "Диомеда" и стали неотрывно следить за ней. Она всё удалялась и удалялась.

"И не боится же. Видно, с детства плавает, – думала Зоя. – Молодой, лет на пять старше меня. Вот бы с таким появиться у нас в больнице – девчонки бы так и упали. А ведь у меня ещё есть время... А что будет, если он влюбится в меня? А потом... Ой! О чём я только думаю? Совсем свихнулась, дурёха".

Зоя легла на топчан и, положив подбородок на руки, закрыла глаза. По коже гулял лёгкий озноб. Глубоко и спокойно дышало море, покривали чайки. Хорошо-то как!

Она очнулась от мокрого прикосновения, приподнялась на локте: кто бы это мог быть? Надо нею склонился... Диомед.

– Так недолго и сгореть. Вы уж больше часа спите. Потом станете лечиться, а мне бы хотелось увидеть вас и завтра тоже.

Зоя окончательно пришла в себя и поблагодарила его за проявленное к ней участие. Мужчина удовлетворённо кивнул и пошёл к воде, вероятно, надеясь на продолжение разговора. А она, почему-то испугавшись возможного развития событий, мгновенно собралась и ушла.

Ночью Зое не спалось. Фантазии одна смелее другой настойчиво лезли ей в голову. Всё-таки как это здорово, когда тебя хотят видеть! Однако та лёгкость, с которой этот случайный человек приобретал над нею власть, беспокоила её. "Судя по всему, он местный, – решила она. – Надо бы расспросить о нем тётю Машу. Она должна знать его. Такого мужчину не заметить трудно".

На следующий день Зоя снова загорала и, конечно же, думала о нём. По краешку её топчана постучали.

– Гражданочка.

Отчего-то решив, что это милиционер, она удивлённо обернулась. Но в полуметре от неё сияло подобострастием лицо Диомеда. Увидев её, как ему скорей всего показалось, недружелюбную реакцию, он ступался.

– Извините, вы не станете возражать, если я расположусь рядом с вами, ведь берег общий? – произнёс незнакомец.

"Что ему сказать?" – суетливо метнулась мысль. А находчивый бёнок в левое ухо уже суфлирует: "буду рада", но тут же справа, вероятно, ангелок, холодно констатирует: "навязчив до неприличия".

– По-моему, вы себе уже ответили, – заметила Зоя. – С чего вдруг вы решили спрашивать меня об этом?

– Ну, как же без разрешения, ведь вы, простите за вынужденную откровенность, безусловно, самая привлекательная женщина на нашем побережье.

Перед такой прозрачной и вместе с тем сладостной лестью девушка не устояла и улыбнулась ему. Незнакомец с горячей готовностью ответил на улыбку. Не зная, как вести себя в столь пикантной ситуации, Зоя пошла купаться. Когда же вернулась, он лежал на своём топчане весь в бисеринках влаги. "С чего бы ему так торопиться?" – подумалось девушке.

– Не сочтите за бестактность, – Диомед выжидательно взглянул на неё, – но я уже четыре дня ищу случая познакомиться с вами. Это возможно?

– Не вижу причин считать это неприличным. Меня зовут Зоя.

– Очень приятно. А меня – Денис.

Зоя, пряча усмешку, кивнула: странные сближения имён: Денис – Диомед.

– И где же вы остановились? – спросил он.

– На Сенной улице, у тётки Маши. А вы, как я поняла, местный житель?

– Да. Живу в посёлке уже пять лет. Замечательное место. Здесь вы хорошо отдохнёте, вот увидите. Ещё и на будущий год приедете. Или, может быть, вы не одна? Тут частенько парами приезжают: один в санатории здоровье поправляет, второй – на пляже.

– В принципе, я не одна приехала сюда, – сказала Зоя, – а с офицером. Он прибыл сюда в моём сопровождении, на реабилитацию.

– И что же, он так плох, что ему нужны были сопровождающие?

– Да, нужны. В результате тяжёлого ранения он остался без ног.

– Хм, даже так? Молодой?

– Мой ровесник, – ответила Зоя.

– Видать понадеялся парень на русское авось... – обронил Денис.

– Что вы имеете в виду?

– Да он наверняка сам напросился в зону боевых действий, подзаработать.

– А если не напрашивался? А скажем, всю часть направили в "горячую точку" ... Что бы вы стали делать на его месте?

– Хм. Извините, Зоя, к счастью, передо мной подобные проблемы никогда не возникали, и, надеюсь, не возникнут. И потом, – он ослепительно блеснул зубами, – не кажется ли вам, что это не совсем пляжный разговор?

– Да, – вынужденно согласилась она, – не пляжный. Мне пора окунуться.

– Мне тоже, – подхватил Денис.

В воду они зашли вместе. Потом ещё загорали, снова купались, вели ленивый, совершенно пустячный разговор. Зоя и Денис изредка поглядывали друг на друга, и, очевидно, это не оставалось без последствий: что-то с ними происходило.

"Боже, как же он хорошо сложен! Я с ума схожу, – неторопливо думала она. – Кажется, смотрела бы на него и смотрела всю жизнь. Но не слишком ли он избалован вниманием? Что-то чересчур часто он прихорашивается: то волосы поправит на голове, то задумчиво огладит свои каракулевые бачки, то кончиками пальцев проведёт по контурам бровей. У него дома, должно быть, уйма зеркал. Как же я забыла, уже одиннадцать. Пора к Некрасову, совсем совесть потеряла".

Зоя поднялась, отряхнула налипшие песчинки, набросила свой васьковский халатик, надела босоножки и нарочито церемонно простилась с Денисом. Он выглядел смущённым; очевидно, хотел проводить её, но непродолжительное знакомство не располагало к этому.

Девушка шла к дому, и тут её сознание обожгла мысль:

"Интересно, а есть ли у него семья? Не может такого быть, чтобы не было. Ладно, что уж тут гадать, время покажет".

Через полчаса Зоя была уже в санатории. Коляска Некрасова стояла на центральной алее возле одной из скамеек. Он снова читал.

– Здравствуйте, Зочка. Ну, как вам "Одиссея"?

– Добрый день. Как видите, понравилась, раз я здесь.

– Рад безмерно. Верите ли, с тех пор, как мы расстались, я произнёс всего лишь несколько слов.

– Что же с вами случилось? Или интересных собеседников себе не нашли?

– Не знаю, – ответил Владимир. – Отчего-то настроение переменялось. Опять что-то накатило. А вчера ночью, представьте себе, у меня ужасно болела левая пятка – словно на гвоздь наступил. Сделали укол, боль исчезла. И что любопытно: даже на фантомную боль есть управа. Но как избавиться от душевной пытки, не представляю.

Девушка присела на скамью.

– Что же сейчас вас так мучит? Ведь всё ясно. Надо жить надеждой на лучшее: найти себе подходящее дело, друзей.

– Видите ли, Зоя, во мне столько нерастроченной силы и доброты, и любви, и злости, что мне кажется, что я однажды от всего этого просто сгорю. У меня руки чешутся: хочется копать, рубить, косить, а я, как полугодовалый ребёнок, – в коляске. И это на всю жизнь... Как подумаю – тошно.

– Скажите, Володя, а если бы вы знали, что всё так плохо кончится для вас, вы бы отказались от командировки в Чечню?

Он глубоко задумался.

– Пожалуй, нет, не смог бы... Я хорошо знаю, что такое долг, честь. Для меня эти понятия горячи, как угли на ладони. Но при ранении я бы уже не хватался за жизнь, как зазевавшийся пассажир за поручни последнего вагона. Нет. Я бы постарался остаться.

– Вы это серьёзно? – спросила Зоя.

– Какие уж тут шутки, – ответил Владимир.

– Тогда я перестаю вас понимать. Столько людей старалось вернуть вас к жизни, и это у них получилось. Столько усилий приложили вы сами, чтобы преодолеть боль, и тоже справились с этим. А теперь, когда вам осталось всего лишь приобрести хорошие протезы и научиться ходить на них, вы отступаете. Пусть даже несколько лет придётся ждать – я узнавала, их нелегко достать, – но это же возможно. И разве сидя, вы не можете писать, рисовать, лепить, вырезать, учить и ещё очень и очень многое?

– Вы, конечно, правы, Зоя. Подыскать себе занятие по душе я в состоянии и, разумеется, так и сделаю. А отступать – тут вы меня не так поняли – не в моём характере это. Если уж тогда инстинкт самосохранения уберёт меня от смерти, то и сейчас я постараюсь удержаться от глупостей. А мысли, куда от них деться, лезут и лезут в голову, точно блохи на нос тонущего кота. Кстати, в эти дни, как мне кажется, я понял причину, по которой кое-кто из самоубийц сводит счёты со своей жизнью.

– Интересно послушать, – сказала Зоя. – Суицид для меня всегда был малопонятным явлением, особенно, если погибшему было что ещё терять.

– Ну, так вот, – сказал Владимир, – я пришёл к выводу, что люди приговаривают себя к смерти, когда их собственная жизнь перестаёт подчиняться им. Ведь они, как и большинство из нас, планируют своё

будущее. Их сознание конструирует целесообразную, наиболее предпочтительную модель существования. Однако пагубная страсть, будь то пьянство, наркомания, участие в азартных играх или безнадёжная любовь, словно стихия всякий раз опрокидывает и сминает её. Эти люди устают бороться и уходят. Моя душа тоже бунтует, но я надеюсь, что со временем мне удастся справиться с ней.

– Я рада за вас, Володя. А не пора ли нам прокатиться по парку?

– Да-да, с удовольствием.

И они отправились гулять. Капитан виртуозно владел коляской. Сжимая хромированные ободки, он без видимых усилий толкал колёса вперёд. Зоя шла рядом. И они, как уже бывало, с интересом и особым доверием разговаривали: вспоминали своё детство, школьные шалости, увлечения юности. И как-то не заметно для себя перешли на ты.

Немало поколесив по парку, они оказались у главного корпуса санатория, где и распрощались. Владимир направился в столовую, а Зоя – в посёлок.

"Странное дело, – рассуждала она, – у меня сейчас нет ни одной подруги, с которой бы я так откровенно разговаривала, как с ним. Вот и выходит, что у меня новая подружка завелась".

От этой несурзной и весёлой мысли с улыбкой на лице она и вышла из ворот санатория. И тотчас наткнулась на Диомеда.

– Денис? Не ожидала. Давно же мы не виделись, – усмехнулась она. – Как вы здесь очутились?

– Да вот гуляю, – сделал он выстилающий жест. – А у вас, я вижу, прекрасное настроение?

– Так оно и есть. У меня была приятная беседа, – ответила Зоя. И подумала: – Неужели он следил за мной?

– Позвольте вас проводить? – предложил Денис. – Мне ведь всё равно где гулять.

– Проводите, – согласилась она.

Он, сделав лёгкий полупоклон, как бы говоря, что рад этому, пошёл рядом. За этими церемониями таилась неясная досада, что-то пока ещё не высказанное.

– И что же ваш подшефный, полон оптимизма?

– Я бы не сказала. Но он сильный человек, и если его сейчас поддерживать, то у него ещё всё будет отлично.

– Любопытно. От человека, я извиняюсь, осталось чуть больше половины, а вы ему прочтите славное будущее. Какое, позвольте узнать? Надеюсь, у него есть хоть кто-нибудь из родных?

– Семьи у него, к сожалению, нет, как и собственного дома тоже. Но у него есть руки, светлая голова и доброе сердце.

– Простите, Зоя, но меня удивляет ваш неуместный пафос. Посмотрите правде в глаза, и вам станет ясно, что он закончит свою героиче-

скую жизнь или на паперти, собирая милостыню на водку, или, если он такой правильный – в богадельне. Это же очевидно.

– Денис! И вам не стыдно думать так? – внезапно вспылила она. – А случись что-нибудь подобное с вами, вы тоже предложили бы себе такую убогую перспективу?

– Но я ведь не пьяница и не идиот-романтик, чтобы со мной произошла аналогичная глупость, – запальчиво ответил он. И вне всякой связи спросил: – Извините, а какого цвета волосы у этого офицера?

– Странный вопрос, – удивилась Зоя. – Разве это что-то меняет?

– Видите ли, я заметил, что как только мы начинаем говорить о нашем знакомом, между нами точно чёрная кошка пробегает.

Зоя взглянула на его иссиня-чёрную шевелюру и покатила со смеху. Денис вздрогнул, изменился в лице – он не понял взрыва её веселья и, видимо, не знал, как себя вести. Его обескураженный вид только усилил хохот девушки. И тогда она указала пальцем на его волосы.

– Если уж кто из нас чёрная кошка, а точнее кот, так это вы.

Денис, осознав нелепость приведённой им аналогии, тоже рассмеялся.

– Действительно, если судить по масти, то больше подхожу я. Ну а, в сущности, надеюсь, он мне не соперник? Не так ли?

Желая подразнить его, девушка пожала плечами.

– Мы пока только знакомые, и я ему искренне сочувствую. Он очень хороший человек. Да, между прочим, разговор о нём обычно заводите вы. А я вовсе не против поговорить о чем-нибудь другом, например, о вашей работе, увлечениях.

На эту фразу Денис отреагировал как на зубную боль.

"Кажется, и эта тема у моего поклонника не вызвала особого вдохновения", – подумала Зоя.

– По профессии я – мостостроитель, – сказал он, – но жить предпочитаю в обжитых и обустроенных местах. Поэтому я выстраиваю мосты только к сердцам любимых женщин.

– И много вы понастроили таких мостов? – тут же отреагировала она. Он смешался.

– Ну что вы, ведь ещё полгода назад я был женат и только теперь начал обращать внимание на прекрасную половину человечества.

– А дети у вас есть?

– Нет, Бог миловал. Так что у меня никаких проблем. Я абсолютно свободен. Теперь, может быть, и вы посвятите меня в некоторые обстоятельства своей личной жизни?

– Конечно. Замужем я не была. Живу одна. Работаю.

– Девушка с такой изумительной внешностью и не замужем? Фантастика! Вы что же, жили в городе слепых, или у вас, – Диомед заговорщицки округлил свои дымчатые глаза, – есть какой-то страшный порок?

– Пожалуй. Всё дело в том, что у меня непростой характер.

– И всего-то?! – радостно воскликнул он.

– Скажите, Денис, а у вас жена была красивая?

– Ну, в общем-то, да. Красивая. Мы были, – погружаясь в воспоминания, он слегка прикрыл веки, – завидной парой.

– Так что же с вами случилось?

– Да обычная история: устали мы друг от друга. Учила она меня жизни, учила – надоело. Я ведь и сам могу, кого угодно научить.

– Ну, так научите меня.

– С превеликим удовольствием. А что вас конкретно интересует?

– Жизнь. Как, по-вашему, нужно жить, чтобы не было скучно, чтобы не жалеть прожитые дни и быть счастливым человеком?

На развилке они, не сговариваясь, свернули на дорогу, огибающую посёлок. Она была довольно пустынной и пыльной.

– Так это же очень просто! – воскликнул Денис. – Чтобы не было скучно, нужно убрать из жизни скучные книги, грустные фильмы, надоедливых друзей, бросить нелюбимую работу и жить так, чтобы каждый день совершалось какое-нибудь маленькое приключение. Тогда прожитые дни будут греть душу долгие и долгие годы.

Зоя с несвойственным ей нетерпением спросила:

– Ну а счастье, что такое счастье, по-вашему?

– Счастье? Хм. На мой взгляд, – это нечто эфемерное и весьма относительное. Любое событие можно посчитать и счастливым, и несчастным одновременно. Всё зависит от точки зрения на него в конкретное мгновение. Ясно?

– Пока не совсем.

– Ну, хорошо, поясню на примере. Вы уснули на пляже, и вам приснился отличный сон. В первую секунду пробуждения время, проведённое во сне, вы считаете счастливым. Через минуту, почувствовав, что сильно обгорели – уже неудачным. Неделю спустя, забыв это огорчение, – снова счастливым. А через год вы будете считать счастливым даже то мгновение, когда почувствовали себя обгоревшей. Вот такой парадокс.

– Однако странное высказывание, – заметила Зоя.

– Это обычное формально-логическое противоречие, – пояснил Денис. – Да, есть и ещё один нюанс. Если вы будете смотреть на свой пляжный сон в эти же самые временные точки отсчёта под влиянием каких-либо других факторов, скажем, под впечатлением интересной встречи или случившегося происшествия, то и оценка этого сна может быть соответственно позитивной или негативной.

– Вы говорите, словно лектор, – заметила она.

– Нет, лекций я пока не читаю, но с редакциями газет сотрудничаю, – с важностью заметил он. – А что, заметно?

– Есть немного, – ответила девушка. – Так что же это выходит? Следуя вашей логике, даже самый замечательный день, однажды прожи-

тый мною, через пять или десять лет может показаться мне самым чёрным на свете, так что ли?

– Именно так. Представьте себе парочку молодожёнов. В первую брачную ночь свою свадьбу они считают самым счастливым событием в их жизни. Но проходит время, и любовь сменяется ненавистью. И если спросить эту пару теперь, что они думают о том дне, который связал их судьбы, то мы услышим от них примерно одно и то же – это самый злополучный день в их жизни.

– Да, Денис, любопытное представление у вас о счастье. Признаюсь, вы очень убедительны. И всё-таки что-то в ваших рассуждениях не так.

Он снисходительно взглянул на неё и только развёл руками.

Так незаметно для себя молодые люди обогнули посёлок и километра в двух от пляжа вышли к морю. Весь берег здесь был усеян галечником. Сбросив босоножки, Зоя поспешила в воду. Какое блаженство! Беспечные зеленоватые волны, принося желанную прохладу, ласково прильнули к её ногам. Беззаботно поглаживая икры и наполняя тело ленивой истомой и смутным ощущением неясного желания, они творили своё будничное волшебство – пробуждали любовь.

Ей вдруг подумалось, что море – огромное доброе существо; оно привычно облизывает всех своих неразумных, однажды порвавших с ним детей. И, быть может, вскоре, если верить пророчествам ацтеков, оно снова, и уже навсегда, вернёт их себе.

Пахло раскалённой галькой, водорослями и солью. Бродя по мелководью, Зоя стала собирать со дна красивые камешки. Один особенно понравился ей. По форме он представлял собой увесистую плоскую каплю, а по тону – полупрозрачную смесь белого, зелёного, фиолетового и розового цветов.

Чтобы похвастать находкой, она обернулась к Денису и встретила его мечтательный и восхищённый взгляд. От такого нескрываемого им обожания она испытала лёгкое головокружение.

– Денис, посмотрите, что я нашла.

Он сбросил туфли и вошёл в воду.

– Ну, и что там за сокровище?

Зоя с видом удачливого изыскателя поднесла к его лицу ладонь с найденным камушком. Он бережно взял её в свои ладони и, явно подшучивая над девушкой, изобразил удивление.

– О! Это настоящее чудо.

И, словно священную реликвию, благоговейно поцеловал камень, потом её мокрую ладонь, запястье...

"Это человек моря, – решила она. – Ещё ни в одних глазах я не видела такой завлекающей в безрассудное плавание морской дымки".

Зоя робко погладила его волосы. Они пытливо посмотрели в глаза друг другу и, не в силах сопротивляться возникшему искушению, трепетно соприкоснулись сухими горячими губами.

"Боже, неужели это и есть то самое счастье, которое я так боялась пропустить? – думала она. – Какая странная неутолимая жажда".

Когда ей уже казалось, что она вот-вот потеряет сознание, Денис повернул её голову в направлении небольшого дерева, стоящего поодаль.

– Давай спрячемся в тень, а не то недолго и солнечный удар получить. Ты согласна, зайка?

– Да, конечно, – несколько смутившись, кивнула она.

Крона вишнёвого дерева напоминала взбитую начёсом и покрытую лаком причёску старой дамы. Усталые ветви с редкими поспевающими ягодами едва не касались земли. У самого ствола лежал кем-то заботливо припасённый внушительный клок душистого сена. Молодые люди сели на него и губы, алчущие новых и новых прикосновений, подчинили их. Поцелуи, то лёгкие и нежные, то страстные, продолжительные, с покусыванием, ввергали Зою в состояние по ощущениям близкое к невесомости.

Когда Денис, не прерывая поцелуя, стал выхватывать из-под них сено и, лихорадочно расстилая его, создавать суворовскую постель, Зоя одеревенела. И как он потом ни пытался склонить её к манящему ложу, опьяняющему самой возможностью околдовать уже желанного ей человека, – этого ему так и не удалось. Уступить, покориться чьей-то воле было выше её сил. Откуда это у неё, она и сама не знала. Денис был раздосадован, но ему ничего другого не оставалось, как смириться с этим.

Поздним вечером, бесконечно уставшая и счастливая, Зоя лежала в своей постели. Такого сумасшедшего дня, насыщенного впечатлениями и новыми ощущениями, у неё ещё не было. Припухшие, словно обожжённые крапивой губы пощипывало. Зоя с Денисом только что вернулись с танцев. В доме отдыха, что по соседству с санаторием, превосходные музыканты. А Денис, как она и предполагала, полон достоинств: великолепно танцует, играет на фортепьяно и общается с окружающими легко, как дышит. Он и не скрывает, что у женщин пользуется большим успехом. Однако с подкупающей искренностью он признался Зое, что по-настоящему влюбился только сейчас, в неё. И в это так хочется верить.

Вспоминая всё, что связано с Денисом, она улыбалась. "С ним, конечно, будет немало хлопот, – размышляла она. – Но мне кажется, что я смогу простить ему всё, только бы никогда не разлучаться с ним. При расставании он предложил наши отношения с ним начать с чистого листа. Чтобы всё, что было у нас до этой встречи, осталось в прошлом. И я согласилась. Теперь он будет только моим.

Завтра мы встретимся лишь вечером – он уезжает в город. Сказал, нужно утрясти кое-какие формальности. Как я ни настаивала взять меня с собой, не взял. Говорит, скучно будет. Вот чудак".

О СЧАСТЬЕ

Когда Зоя проснулась, тёти Маши дома не оказалось. Сходив в сад за абрикосами и прихватив томик стихов Бунина, она уселась под яблоней. Книжка старая, её жёлтые листы пахнут тленом. Но стихи, хоть и грустные в большинстве своём, ей нравились. Прочитаешь, например, только это: "Такая тёплая и тёмная заря..." и душа по одной единственной строке, как по звуку камертона, мгновенно настраивается на определённую тональность. Разве это не чудо?

Вскоре пришла тётя Маша, и они за чаем проговорили с ней не меньше часа. О своём увлечении Зоя так и не рассказала ей, несмотря на то, что хотелось говорить только об этом.

Ещё не было и десяти, а девушка с пакетом абрикосов уже входила в ворота санатория. Терраса была пуста, и Зоя в ожидании Некрасова присела на ближайшую скамью. Минут через пятнадцать послышалось характерное поскрипывание колёс. Прикатил Владимир.

Увидев её, он был удивлён и обрадован.

– Ты уже здесь? Невероятно! Здравствуй, Зоенька. Спасибо за сюрприз.

А она, как будто они и не расставались, достала из кармана вчерашнюю находку и подала её Некрасову.

– Что это тебе напоминает?

Он с интересом взял камушек.

– Холодный. Первое, что приходит в голову, – это оледеневшая капля мягкого мороженого с джемами из ежевики, малины и крыжовника.

– Подходяще, – сказала она. – Что-то вроде этого я и предполагала услышать. Он твой.

– Спасибо. Тронут вниманием.

– Володя, ну как твои дела?

– Всё нормально. Даже купаться в море разрешили.

И, заметив, как она поражена этим сообщением, добавил:

– Не в открытом, конечно, а в лягушатнике, и под присмотром.

Некрасов круто развернул коляску, и они не спеша направились в сторону шума прибора.

– Владимир, как ты думаешь, может ли человек свой самый счастливый день впоследствии посчитать самым злосчастливым?

– Я этого не исключаю. Люди, отравленные враждой, вполне могут сделать такое заключение. Но, по моему убеждению, если день был прожит счастливо и принадлежит прошлому, то переоценить его можно только жульническим путём. Прожитый день – это исписанная страница, хранящаяся в архиве. Её можно только читать. Я так считаю.

– Хорошо. А если бы ты узнал, что тебя обманывали?

– Я бы ответил, что был счастлив в своём неведении.

– Ну, тогда, пожалуйста, скажи мне, что ты понимаешь под счастьем?

– О, Боже! Зоенька, помилосердствуй! – шутливо взмолился Владимир. – Спроси что-нибудь полегче. Зачем тебе это? Ведь ты же знаешь, у каждого оно своё: для голодного счастье – насыщение, для нищего – обладание какой-то суммой денег, для приговорённого к смерти – помилование.

Он немного помолчал. И видя её ожидание, вероятно, что-то решив и на свой счёт, сказал:

– Может быть, счастье – это исполнение мечты?

Зоя с сомнением покачала головой и сказала:

– Меня смущает вот что. Для людей, находящихся в экстремальной ситуации, исполнение мечты может быть делом сиюминутным. И, напротив, для не знающих чувства меры – изначально недостижимым.

– Но ведь никто не знает, сколько живёт счастье? – возразил он. – И разве человек, избежавший гибели, не будет счастлив самим фактом своего спасения? А впрочем, я так и предполагал: универсального определения счастья не существует.

– Хорошо, если не секрет, что бы ты мог ответить наивному детдомовскому мальчишке на такой вопрос: "Что нужно сделать, чтобы прожить свою жизнь счастливым?"

Капитан озадаченно взглянул на неё, задумался. По его смягчившемуся лицу она поняла, что мысленно он сейчас там, в своём детстве, среди своих друзей – маленьких жертв семейных катастроф, и ищет ответ для самого себя, ещё ничего не знающего о взрослой жизни юнца.

– Я бы сказал ему: "То, о чём ты сейчас мечтаешь – о достойной профессии, о независимой и безбедной жизни, несомненно, очень важно. Но занятие высокого положения в обществе, обладание шикарными вещами и квартирой для счастливой жизни вовсе не обязательно. Самые большие приобретения на поверку могут оказаться лишь крохотными счастливыми. А настоящее счастье – жить в атмосфере любви: когда всё, что бы ты ни делал доброго и хорошего, делаешь с надеждой хоть немного обрадовать и удивить дорогого тебе человека. А что нужно сделать? – Некрасов остановился. – Для начала нужно пробудить в себе самоуважение, чувство уверенности, а для этого совершить что-нибудь нешуточное: будь то поступок или серьёзное обстоятельное дело; ну, а потом... потом постараться отыскать того самого человека, который тоже ищет тебя".

У Зои в груди потеплело: "Я своего любимого уже отыскала. Быстрей бы вечер". Она положила руку на запястье Владимира.

– Спасибо. Это подходящий совет не только мальчишке, но и мне.

С трудом возвращаясь к реальности, он сказал:

– Я не раз ловил себя на мысли, что советы давать куда легче, чем следовать им самому. Всё. Тему закрываем, ибо для такой легкомысленной погоды она преступно серьёзна.

Они улыбнулись друг другу. Погода действительно была дивная. Пятнистая, похожая на леопардовую шкуру тень вполне спасала их от

жары, и, вместе с тем, солнца тоже хватало. Волнующий аромат цветов и йодистый запах моря были одинаково различимы. Таким благотворным, целительным воздухом дышать бы только и дышать.

Они блуждали по самым безлюдным аллеям, ели фрукты и разговаривали, так, ни о чем. И очевидно оба думали о счастье – каждый о своём.

Как только ослабевшее солнце стало сползать с истомлённого зноем небосвода, Зоя отправилась на пляж. Решила: здесь и дождусь Дениса. Расположившись на своём обжитом месте, осмотрелась.

Возле самой воды на мокром песке сидела белокурая девчушка, вся голенькая, с покрасневшими плечиками. Она немного боялась её холодных прикосновений, и каждый раз, когда набегающая волна подступала к ней, девочка, икая и замирающе смеясь, пыталась поймать её. А волна всё время обманывала малышку, оставляя в её ладошках только несколько песчинок и зелёных ниточек водорослей.

Вблизи Зои на стареньком голубоватом пледе с книгой в руках сидела хрупкая девушка. На её коже не было и следа от прикосновения южного солнца. Спутанные волосы были темны от влаги. Она читала. На её по-детски продолговатом личике блуждала улыбка. От всего её вида веяло провинциальным простодушием и безмятежностью. Судя по широко разостланному пледу, она кого-то ожидала, наверно, родителей.

Вдоль берега, монументально бронзовея парусами и крыльями вьющихся над ними чаек, легко покачиваясь на волнах, проплывали три яхты. Кто-то с нескрываемой завистью произнёс: к регате готовятся. Зоя повернулась на голос. На топчане, высоко задрав голову, стоит крупный подросток и неотрывно смотрит вслед парусникам. Рядом сидят его родители – очень упитанная пара – и режутся в карты.

– Ма-ам, можно я немного пробегу по берегу, понаблюдаю за спортсменами?

– Нельзя. Вдруг что случится.

– Да не случится. Мам, я быстро.

– Нельзя, – ещё более категорично повторила мать. – Тут маньяков повсюду полно. Вот не станет нас, тогда и бегай куда захочешь.

– Владик, слушайся маму, она у нас мудрая женщина. Учись лучше в дурака играть.

Мальчик понурился, вяло махнул рукой, присел, отвернулся и тут же удивлённо вытянул шею. За ним, метрах в пятнадцати, огибая отдыхающих, в его направлении двигался отряд малышей.

Они шли гуськом: впереди два мальчугана годика по три, за ними, чуть постарше их, девочка. Все в панамках, трусиках и сандалиях, в руке у каждого по стаканчику с мороженым, на худеньком плечике девочки – детская сумочка. Они шли не спеша, с любопытством посматривая по сторонам; чуть приостановились у играющих в карты, подошли к

Зоя. "О-о! А мальчишки-то похожи друг на друга, как два маковых зёрнышка". Близнецы – оба смуглые, пухлощёкие, с добрыми и, как ей показалось, уже многое понимающими чёрными глазками.

Видя её радостное изумление, девочка улыбнулась и слегка поклонилась ей.

– Здравствуй-те, – бережно и певуче выговаривая каждый слог, поздоровалась она. Её колокольчиковое приветствие тотчас отозвалось в Зоинной душе.

– Здравствуй, миленькая.

И только она хотела порасспросить её об их родителях, как мальчишки восторженно завопили: "Мама!" – И бросились к её читающей соседке. Они оба с двух сторон крепко прильнули к ней.

"Мама? – изумилась Зоя. – Вот не думала, что я способна так ошибиться".

Девочка была более сдержанна, но и она с большой нежностью поцеловала свою мать и ласково провела ладошкой по её лицу.

Зоя заметила, что все, кто находился по соседству с ними, – отложили свои занятия и с интересом наблюдали за этой встречей.

– Ну что, мои хорошие, – юная мамаша коснулась каждого, – выспались?

Мальчишки, продолжая улыбаться, согласно закивали.

– Мам, можно мы искупаемся? – спросила девочка.

– А кто будет мороженое доедать? Я, что ли, за вас отдуваться стану?

– Ты, мамуля, ты, – засмеялись они, поддразнивая её.

– Ну, ладно, так уж и быть, давайте. Только ты, доченька, присматривай за ними. А вы, ребята, слушайте сестру. Уговор?

– Уговор, – радостно подтвердили они.

И только тут мальчишки отлепились от своей матери, вручили ей свои стаканчики с мороженым, сбросили сандалики и, повизгивая от нетерпения, наперегонки побежали к воде.

У Зои от жалости к себе защемило сердце. "Боже, как они её любят". И тут у неё возникло настойчивое желание пообщаться с этой молодой матерью. Как только она взглянула в сторону Зои, та спросила её:

– Извините, вы не боитесь отпускать детей одних?

– Я что, так похожа на идиотку? – с полуулыбкой спросила женщина.

– Ну что вы? Но вдруг что-нибудь случится?

– На всякую беду страха не напасёшься. И потом, они ведь не каждый сам по себе, а все вместе. Да и я недалеко. Если кто-нибудь из них нахлебается воды, уж будьте уверены – откачаю.

– Вы – отважная женщина, я бы так не смогла, – сказала Зоя и передвинулась к соседке поближе. – Всё-таки на воде очень опасно.

– Да, опасно. Но если с раннего детства не научить человека осто-

рожности и решительности, ему придётся учиться этому во взрослой жизни и ещё долгое время находиться в опасности. Или я не права? – улыбнулась мамаша.

– С этим не поспоришь. Но мне кажется, дети должны чувствовать себя защищёнными, – возразила Зоя.

– А они себя так и чувствуют. Можете убедиться, – указала она на них рукой. – У нас с мужем на процесс воспитания детей одна точка зрения. Во-первых, не занянчивать их. Бабушка постоянно напоминает нам: засиженное яйцо всегда болтун, занянченное дитя – оболтус. И мы согласны с ней. Во-вторых, стараться научить своих детей быть самостоятельными и счастливыми при любых обстоятельствах. Ну, а всему остальному в любой нормальной семье дети учатся сами.

– У вас с мужем редкое единодушие.

– Так это ж естественно. Какая же это семья без единодушия? Прежде чем выйти замуж, я выпытала у своего Славки всё, что меня интересовало. Мне нужны были полная ясность и согласие по важным для меня вопросам. Спорить можно с женихами, а с мужьями нужно жить душа в душу, так бабушка говорила. Согласны?

– Как тут не согласишься?.. У вас очень славные ребята.

Молодая женщина смущённо улыбнулась.

– Да. Я и сама от них без ума.

– Вы, наверно, сюда к родным приехали? – полюбопытствовала Зоя. Та отрицательно покачала головой.

– Нет. У нас никого здесь нет, даже знакомых.

– Тогда, может быть, познакомимся?

– Давайте, – оживилась женщина. – Меня зовут Наташа.

– Очень приятно. А меня – Зоя, – тепло улыбнулась ей девушка. –

Вы здесь всей семьёй отдыхаете?

– Нет. Муж уехал на вахту – он у меня нефтяник, а мы – сюда.

– Наташа, и как он только мог отпустить вас одних?

– Да он и знать не знает, что мы здесь. Вчера вечером достала я те деньги, что Славка нам на две недели оставил, и спрашиваю ребят: "Что бы нам такое совершить безрассудное?" Алёнка вдруг возьми да и скажи: "А поедем на море". Мальчишки так и заорали от радости: "На море!" Спрашиваю: "Когда?" Данька говорит: "Сейчас". Говорю им: "В кассах билетов может не быть, что тогда?" Алёнка в ответ: "Тогда купим сладостей и вернёмся домой". "Ну, что ж, – говорю им, – полчаса на сборы". Нам было всё равно, куда ехать, и вот мы здесь. Так что, кто не рискует, тот и в море не купается.

– Наташа, сегодня вы уже не первый раз удивляете меня. К сожалению, за всю свою жизнь я не совершила ни одного приличного сумасбродства. По случайной прихоти я могу лишь приобрести какую-нибудь пустяковину. А вот ввязаться в настоящее приключение – никогда.

– Зоя, у вас ещё ничего не потеряно, нужен только настрой и хоть какая-то определённая цель.

– Наташа, так разве ваш приезд не бесцельное путешествие?

– Конечно, нет. Я хочу приучить их к мысли, – повела она головой в сторону своих ребятишек, – что расстояние – самое пустяковое препятствие из возможных. Пусть привыкают быть гражданами мира.

Зоя смотрела на эту юную женщину с ярко-алыми губами, измазанными мороженом, и думала: "Странное дело, эта девочка по всем приметам гораздо легкомысленнее, чем я. Однако, чувствую, что она прозорливее и опытнее меня. То, что я принимаю за беспечность, она находит ответственностью перед будущим детей. Очевидно, материнство делает её такой".

Желая продолжить общение, Зоя спросила:

– Наташа, а вот если честно, троих малышей растить очень трудно?

Женщина коротко взглянула на неё, чуть помедлила с ответом.

– Первые месяцы – очень. Ведь ещё и у самой проблем полно, да и ребёнку нужно время привыкнуть к этой беспокойной оглушительной жизни, а потом... потом полегче. Близняшки мои, конечно, недёшево мне достались, но зато, когда я их родила, счастлива была безмерно. А у вас пока нет детей, я правильно поняла?

– Да, правильно. Но признаюсь, мысли о них в последние дни меня просто одолевают. Здесь вокруг столько ребятни. Так что вы уж простите мне моё невольное любопытство.

– Ничего-ничего, о своих детях я люблю поговорить. Ведь учить их всему, что знаешь, и видеть, как отзывается в них каждое сказанное тобой слово, страшно интересно. Я уверена, процесс воспитания – это такое же творчество, как занятие живописью или скульптурой.

– Вы усматриваете в них что-то общее?

– Ну конечно! Я как-то уже размышляла над этим. Вот, к примеру, художник, набрасывая эскиз, старается увидеть в нем свою законченную картину. И я тоже, обучая своих малышей, пытаюсь представить их в будущем достойными и воспитанными людьми. Или, скажем, скульптор. Он, во что бы то ни стало, добивается совершенства формы своей скульптуры. А что делаю я? Да почти то же самое. Только я работаю с душой ребёнка. Я в каком-то смысле тоже вылепливаю её, стараюсь придать ей совершенный вид. Вы согласны со мной?

– Да. Довольно убедительно. У вас гуманитарное образование?

– Нет, что вы, только среднее. Со Славкой я познакомилась сразу же после окончания восьмого. Он был студентом, сдавал сессию за второй курс. И вдруг мы влюбились, и сразу же стали думать о свадьбе. Через три года я получила аттестат, а он – диплом инженера, и как только мне исполнилось восемнадцать, мы подали заявление в загс.

– А что родители?

– Мама, в общем-то, была против этого. Говорила, а вдруг у вас семьи не получится, кому ты тогда без образования нужна будешь? Наставила: отучись в институте, а потом и вяжи себя по рукам и ногам. А я думаю: "Нет уж, я себя знаю: захочу получить специальность – получу, а вот любовь упущу – всю жизнь буду жалеть". На моей стороне только бабушка была. Заявила маме: лучше капля счастья, чем бочка мудрости.

– А знаете, Наташа, видимо, она права.

Женщина открыто и по-доброму улыбнулась.

– Конечно, права, во всяком случае, в отношении меня.

– А вот и граждане мира бегут, – кивнула Зоя в сторону приближающихся детишек.

Малыши примчались мокрыми и слегка озябшими. Мальчишки тут же растянулись на плед.

– Ну, как, ребята, понравилось вам море? – заботливо вытирая им спинки, спросила их Наталья.

– Оно хорошее, – сказал один из мальчишек, – только горькое.

– Горькое-прегорькое, – добавил другой. – И никакое оно не чёрное.

– Вот глупые! Море весёлое, оно со всеми играет, – возразила им девочка. – Если бы оно было сладким, как лимонад, то его бы уже давно выпили отдыхающие, всё-всё до капельки.

Наталья, придерживая головку девочки, одним ловким движением уложила её между братьями на плед, нависла над ними. И, тормоша их всех, стала щекотать и приговаривать: "Ах, вы мои умники-разумники! Море им сладкое подавай! Да чтобы оно было чёрное-чёрное, густое, как чернила! Так, Тимка? Так, Данилка?" Ребятишки хохотали.

В какой-то момент Зоя перестала слышать их, ушла в себя, в свои мысли. "Если бы я не приехала сюда и не встретила всех этих людей, то могла бы так и не узнать, насколько я устала от одиночества, от этой правильной, стерильной и, вместе с тем, достаточно глупой жизни. Целыми месяцами ничего нового не происходит, словно пространство, в котором я живу, законсервировано. Нет, так дальше жить нельзя! Теперь я знаю, чего хочу: семейного уюта, заботы, вот такого же, как у Наташки, суматошного счастья. Боже, как же мне холодно жить!"

Внутренний холодок этого внезапного отчаяния растаял не сразу. Тонкая струйка песка, поддетого чьей-то обувью, мягко осыпалась на ногу. Зоя подняла голову. Перед ней стоял улыбающийся Денис.

– Привет, зайка. Давно загораешь?

– Привет. Да уж порядочно.

Денис присел на край лежака. Девушка вопросительно взглянула на него.

– Ну, как съездил?

– С ожидаемым результатом.

– Какие-то тайные дела?

– Личные. Но могу посвятить. Может быть, прогуляемся?

– Давай.

Уходя, Зоя по-детски помахала рукой Наташе. Денис с удивлением посмотрел на неё.

– Откуда ты знаешь этих детей?

Зоя улыбнулась.

– С детьми я пока не знакома, а попрощалась я с их матерью.

– Эта пигалица троих родила? – опешил он.

– Да, эти малыши – её дети, – едва ли не с вызовом подтвердила Зоя.

– Диагноз ясен, – усмехнулся Денис.

Девушка с повышенным вниманием взглянула на него.

– Что ты имеешь в виду?

Он неловко замялся.

– Я невольно представил себя многодетным папашей, и мне стало как-то нехорошо, – сказал он. И его гримаса была красноречивей слов. – Знаешь ли, свою дальнейшую жизнь я вижу несколько иной.

– И какой же, если не секрет? – полюбопытствовала Зоя.

– От тебя, зайка, у меня нет секретов. Должен признаться, что я мечтаю о том, что в скором времени смогу жениться на очень красивой девушке, купить белый шевроле и на нем вместе со своей избранницей объездить всё побережье. Что ты по этому поводу думаешь?

– Что ж, найти себе подходящую пару – естественное желание. Но свадебное путешествие, даже самое романтическое, ещё не сама жизнь, а лишь её непродолжительный праздник.

– Зюечка, я имею в виду не только путешествие, а покорение побережья! Представь себе молодую красивую пару: оба в белом, одеты по последней моде; у неё в ушках бриллианты, на пальчиках – золотые колечки, на ножках – украшенные камушками белые туфельки, одним словом – куколка; у него тоже всё на уровне. И эта пара должна не просто продефилировать, а влиться в элиту, занять в ней своё законное место. Ты понимаешь, о чём я говорю?

– Понимаю, – не вполне уверенно ответила Зоя. – Но ты пока ни слова не сказал о доме, о работе, о детях...

– Зоя, давай оставим этот абстрактный разговор и объяснимся без околичностей. Пока я ничего не могу тебе предложить, но, говоря о своей возможной женитьбе, всё же очень надеюсь, что моей невестой будешь именно ты.

Он умоляюще посмотрел на неё. Тема разговора была столь прозрачной, что Зоя давно уже готовилась к подобному предложению, и, тем не менее, внутреннее пламя обожгло её щеки. Она смущённо пробормотала:

– Не вижу ничего невозможного.

Он горделиво улыбнулся и, не рискуя прилюдно поцеловать девушку, благодарно сжал её руку.

– Я был уверен, что ты не будешь возражать против этого. Теперь

уже можно говорить определённо. Коттедж, яхта, деньги, – всё это у меня будет, надо только подождать. У меня масса влиятельных знакомых. Мой бывший тесть, хоть и живёт в Москве, курортную зону знает лучше, чем свою дачу, и его здесь все знают, а значит и меня. Работа не проблема. Я сотрудничаю с редакциями двух еженедельников, ты же – можешь устроиться в санаторий.

– Денис, а что ты думаешь о детях?

Он досадливо поморщился.

– Ну, дались тебе эти дети! Что за спешка? Я считаю, сначала мы должны пожить друг для друга, обустроиться, завести полезные знакомства, а уж потом и о ребёнке думать. Как тебе такая перспектива?

– Я не возражаю. Пожить какое-то время жизнью светской дамы даже интересно.

– Вот именно. Ведь это не каждому дано. Хорошо, что мы поняли друг друга. Но всё, о чём мы говорили, возможно не ранее, чем через год.

– Ты можешь объяснить, почему?

– Да. С бывшей женой я должен урегулировать все имущественные вопросы.

– Прости, а разве нельзя их решать, живя нормальной и полной жизнью?

– Понимаешь, зайка, моя торопливость может стоить мне почти всего, на что я рассчитываю. И давай больше не будем об этом. Договорились?

– Как хочешь.

В этот раз они бродили до полуночи, а потом Денис подвёл её к двухэтажному особняку.

– В этом доме ты будешь хозяйкой. Хочешь его осмотреть?

– Нет-нет, уже поздно, мне пора на квартиру.

– Так оставайся у меня. Я нахожу, настало время нам с тобой узнать друг друга немножко поближе.

Зоя усмехнулась.

– Сблизиться я согласна. Но не так близко, как ты предлагаешь.

Ночью ей долго не спалось. Она вновь и вновь вспоминала всё сказанное ей Денисом. Приятно осознавать себя потенциальной невестой такого элегантного и одарённого мужчины. Правда, смущает одно обстоятельство: их точки зрения на большинство проблем совершенно противоположны. И что-то пока не заметно, чтобы он готов был к компромиссу. На первый взгляд всё объяснимо: различия в образе жизни порождают различия в образе мыслей, но снимутся ли эти противоречия со временем или обострятся? Вот в чём вопрос.

Сегодня Денис был категоричен, а проявится её характер – чем всё закончится? "Ничего, – успокаивала она себя, – любовь научит уступать".

Зоя вдруг заметила, что её сердце, подстраиваясь под мерное дыхание моря, замедляет свой стук. Она рассмеялась. "Лучше его не слушать". И, наконец, уснула.

Утро Зоя провела в постели. Ей хотелось насладиться тем новым ощущением полёта, которое испытывала. Сразу же после завтрака, все ещё находясь в радостном настроении, она пошла в санаторий. Владимир, не рассчитывая на её ранний визит, долго не появлялся. И Зою это ничуть не раздражало. Когда он увидел её, то широко заулыбался и прибавил скорости. Странно, но помимо её воли у неё на лице тоже появилась улыбка. Зоя с некоторой досадой подумала: "Ну что у него за привычка такая – радуется, как ребёнок".

– Извини, пожалуйста, что заставил тебя ждать. Засиделся за чаем. Здравствуй, Зоя.

– Здравствуй. Погуляем?

Владимир односложно ответил:

– С удовольствием.

И Зоя поняла, что он с полунамёка постиг её желание побыть наедине со своими мыслями и отнёсся к нему с уважением. Он остался на той незримой дистанции, которую она задала ему. Ей тоже захотелось сделать для него что-нибудь приятное, и она решила показать ему посёлок.

Зоя шла за коляской, изредка помогая Владимиру на подъёмах. В этот раз она старалась смотреть на всё глазами первооткрывателя, его глазами. И это дало свои результаты. Она стала замечать то, чего раньше не видела: опрятность посёлка, уют его узких, заросших всевозможной зеленью улочек, обилие торговых палаток, лотков, летних кафе, магазинчиков. Путешествуя, они угощали друг друга то истекающими горячим соком чебуреками, то солёными орешками, то эскимо; любовались роскошными цветниками, домовой резьбой и по-прежнему почти не разговаривали, находя удовольствие в создаваемом ими одиночестве.

Выйдя на окраину к небольшому рыбацкому хозяйству с развешенными сетями и опрокинутыми лодками, они повернули в сторону санатория. Возвращались по Сенной. Из распахнутого настежь окна большого старого дома лилась музыка. Рафаэль, как и целую вечность назад, проникновенно пел свои песни моря. Реликвии старшего поколения. Владельцы этих пластинок состарились, а тема по-прежнему молода.

– А здесь живу я, – указала она на домик тёти Маши. – Зайдём?

– Нет-нет, на сегодня хватит. Да и на процедуры пора.

– Зоя! Это ты, милая? – послышалось откуда-то со двора.

– Я, тётя Маша.

– Ну-ка погоди, дочка, не убегай.

Зоя только руками развела: что, мол, поделаешь? Решительно откинув занавеску, из кухоньки, поправляя на ходу волосы, торопливо вышла хозяйка.

– Вот тебе и на! Ты что же это гостей мимо нашего дома проводишь?
– Она с упрёком посмотрела на неё. – Или я провинилась в чём?

– Да что вы, тётя Маша, – стала оправдываться Зоя, – мы просто погуляли уже, и Володя хочет на процедуры успеть.

Хозяйка широко распахнула калитку и жестом пригласила их к себе. Владимир коротко взглянул на свою спутницу, та кивнула, и он въехал во двор.

– Ну, здравствуй, сынок.

Они с интересом посмотрели друг на друга, чему-то удивились, усмехнулись, причём взгляды их были столь выразительны, что это могло свидетельствовать о появлении между ними мгновенного контакта, глубинного взаимопонимания. Создалось впечатление, что они узнали друг о друге нечто важное... и промолчали.

– Здравствуйте... тётя Маша.

– Так это, выходит, я тебя ждала, – сказала хозяйка.

– Не знаю, – улыбнулся Владимир.

– А я знаю. Тебя. Только встала с утра – и думаю: "А что если гости придут, чем их потчевать буду?"

– Что-то вы хитрите, тётя Маша, – сказала Зоя.

– Ничуть. Сейчас сама убедишься. Так что проходите. А твои процедуры, Володя, мы поменяем на первые в этом году вареники с вишнями. На воздухе и покушаем. А пока я буду накрывать на стол, вы сходите в туалет, умоетесь.

Владимир смущённо покраснел. Хозяйка заметила это.

– Ничего-ничего, и ты сможешь. У нас там всё предусмотрено: и речки, где нужно, прибиты, и ремни. У моего мужа после аварии тоже были проблемы с ногами, так он для себя там всё как следует, оборудовал.

Минут через пятнадцать молодые люди сидели под яблоней. Яблонки, нависающие над столом, светились, как маленькие луны.

– Это белый налив? – спросил Владимир.

Тётя Маша улыбнулась.

– Угу. Вот-вот поспеют, но им ещё придёт черёд. А сейчас давайте-ка отведаем вареников со сметанкой.

С этими словами она взяла со стола накрытую крышкой кастрюлю, несколько раз энергично встряхнула её и затем доверху наполнила расставленные перед гостями тарелки полупрозрачными от топлёного масла варениками. И тут же из глубокой глиняной чашки положила на них по три ложки сметаны и придвинула гостям по кружке компота.

– Ешьте, пожалуйста, мало будет, ещё что-нибудь придумаем.

Вареники Зоя так и не смогла доесть, а Владимир справился со своими, но от добавки отказался.

– Спасибо, тётя Маша, – поблагодарил он. – Сегодня без всякой на-

тяжки я могу заявить, что таких вкусных вареников с вишнями я ни разу не ел.

Хозяйка просияла, а Зоя подумала: "Кто бы сомневался..." Они сидели за столом ещё около получаса, разговаривали. Тон беседы задавал Некрасов. Очевидно, не желая говорить о себе, он заинтересованно расспрашивал хозяйку об истории посёлка, санатория и местных достопримечательностях. Живое внимание гостя к рассказу тётки Маши ещё больше расположили её к нему. И когда он заметил, что ему пора собираться, она вынесла из дома белоснежную хлопчатобумажную кепку и подала её Владимиру.

– Держи, Володя, это тебе в подарок.

Он примерил её, поправил и удовлетворённо улыбнулся.

– В самый раз. Сердечно тронут.

– Носи на здоровье. И приходи ещё в гости. Буду рада тебе.

– Спасибо за всё, – поблагодарил её Некрасов. – И всего вам доброго.

Зоя проводила его до ворот санатория, и они расстались.

Прошло ещё два замечательных дня. И уже лёжа в постели, Зоя предалась грустному раздумью. "У меня остался один-разъединственный денёчек. Как же не хочется уезжать. Впервые в жизни я встретила парня, который мне по-настоящему интересен, и я, если не врёт, ему тоже не безразлична. Мало того, он сделал мне предложение, правда, пока лишь перспективное. Но я рада и этому.

И всё же одно обстоятельство нервирует меня: это настойчивость, с которой Денис добивается интимной близости. Он наотрез отказывается понимать мои аргументы; говорит, раз мы решили создать семью, – значит, всё можно. Отвечаю: мы даже не помолвлены. А он заявляет, что любовь выше условностей. И ходит за мной, как привязанный. Я и потерять его боюсь, и ничего не могу поделать с собой. А что с нами будет в разлуке?"

Утро для девушки прошло как обычно, с одной лишь разницей, что мысли, докучавшие вчера, никуда не исчезли и продолжали тяготить её. На пляже Зою ждал Денис. Он тоже увяз во вчерашнем дне и желал лишь одного – доказательств её любви. Почувствовав её колебания, он распался всё более и более. Даже купаться с ним стало небезопасно. Его одержимость сместила девушку. Когда она вернулась с пляжа, тётя Маша подала ей уже приготовленный объёмистый пакет с выпечкой.

– Зоенька, передай это Володе в качестве приветов от меня.

Девушка не удержалась от улыбки.

– Однако увесистый приветик. Вот уж он обрадуется.

– Ну и хорошо. Будет чем друзей угостить.

"СОТОВЫЙ МЁД"

Мысли об их последней встрече с Владимиром хорошему настроению не способствовали. Зоя чувствовала не просто неловкость, а какую-то неосознанную вину перед ним. Неожиданно на перекрёстке улиц возник Денис. Его появление мгновенно перенастроило её. Ей подумалось: "Вот человек, обещающий мне счастье".

– Зайка, можно и мне с тобой?

– ...Хорошо. Пойдём.

"Так будет честнее", – подумала она. А их разговор с Денисом очень быстро свёлся к его вчерашним притязаниям.

– Зайка, я не перестаю удивляться твоему упорству, с каким ты держишься отживших свой век традиций. Скажи мне, как нам узнать, насколько мы подходим друг другу? А вдруг у нас физическая несовместимость? Или я для тебя недостаточно хорош?

"Ну вот, опять разгорячился", – улыбнулась Зоя.

Проходя через ворота санатория, она поздоровалась с вахтёром. Денис неотрывно смотрел на неё. Ей захотелось чуть-чуть подразнить его. И она вполголоса спела ему пару строк из одной старой доброй песни:

"Может, ты на свете лучше всех,

Только это сразу не поймёшь..."

И вдруг её сердечко ёкнуло. "О, Боже! Как же я его не заметила?" Они практически уже прошли мимо Владимира, но потом, что-то почувствовав, Зоя оглянулась. И первое, что она увидела – немой укор его глаз. "Ой, как нехорошо получилось". Резко изменив направление, она устремилась к нему.

– Володя, почему ты не окликнул меня? – спросила она его.

– Ты же пела.

– Прости, мне так неудобно.

– Пустяки. Я рад тебя видеть и... твоего приятеля.

– Спасибо. Познакомьтесь, – жестом пригласила она их к общению.

Они представились, сдержанно кивнули друг другу.

– Володя, – Зоя протянула ему пакет, – это тебе привет от тёти Маши.

Некрасов с живым интересом заглянул в него, удивился.

– Ну и мастерица она. Спасибо ей и низкий поклон от меня.

– Передам.

Он достал по рулету с маком, угостил их. А пакет Зоя взяла у него и повесила на рукоятку коляски.

– Погуляем? – спросила она.

– Конечно, – согласился он.

Зоя развернула коляску в сторону парка и неспешно покатила её по центральной дорожке. Денис пошёл рядом с Некрасовым.

– Ну и как вам в нашем санатории? – поинтересовался Денис.

– Нормально, – сказал Владимир. – Особенно приятно скитаться по здешним аллеям. Порой катишься так куда-нибудь без всякой цели, без мысли, просто наслаждаешься прохладой, шелестом листьев, их пестротой, покоем, существованием. Хорошо. Бродячая медитация, да и только.

– Володя, а ты не пробовал писать? – спросила девушка. – У тебя, наверно, получилось бы? Вот Денис пишет, он журналист.

Некрасов взглянул на Дениса и ответил:

– Профессионально, конечно, не писал, но попытка была, правда, очень давно, ещё в юности.

– И что же вы писали? – любопытно спросил Денис.

– Стихи.

– Для вояк это как-то не характерно, – грубовато заметил Денис.

– Профессия здесь ни при чем, – возразила Зоя. – Володя, а ты не говорил, что писал стихи.

– Повода не было, вот и не говорил.

– А откуда у тебя интерес к ним, повезло с учителями? – поинтересовалась она.

– С учителями?.. Не уверен. У первого преподавателя нервы были ни к чёрту. Инакомыслия и прочих вольностей на дух не терпел. На его уроках стояла жуткая, чуть ли не обморочная тишина. Чья-нибудь бессознательная улыбка или задумчивость приводили его в ярость. Произношение слов он приносил в жертву правилам их написания. Слова "мотоцикл", "камышы" он говорил с непременным выпячиванием гласной "и", а "парашют", "брошюра" – только через "ю".

Некрасов, глядя на суету посвистывающих синиц, улыбнулся.

– А того горячего мужчину сменила дама. На её уроках царил полнейший хаос. Она говорила скороговоркой и ничего, кроме аллергии к прочитанным с нею произведениям, привить нам так и не смогла. По её милости до сих пор не могу читать ни Тургенева, ни Достоевского.

– Я догадываюсь, вдохновение могло прийти к юноше только с любовью, – с ухмылкой заметил Денис. – Не так ли?

– Нет. Всё прозаичней. Причина банальна – интеллектуальный голод.

– Вам не хватало впечатлений?

– Я бы уточнил, эстетических впечатлений, а ещё точнее, потрясенный от прекрасного. Да это ж и понятно: чего больше всего не хватает человеку в жизни, то и занимает весь его ум: будь то любовь, творчество или стяжание.

Зоя с Денисом переглянулись.

– Мне, как я позже понял, – продолжал развивать свою мысль Некрасов, – почти всегда не хватало лирики. И вот, когда я начал учиться в училище и загружать себя всякими там военными премудростями, а

ещё и общаться со сверстниками на языке, в котором доминирует мат, я вдруг почувствовал, что мне как воздуха не хватает живых русских слов.

– Интересное заявление, – отметил Денис. – И откуда же вы их добывали?

– В основном из памяти. На первых курсах нам следовало читать только уставы. А там фразы элегантны, что деревянные колодки. И от всей этой тоски меня спасали только стихи. При любом удобном случае и чаще всего ночью я уходил в своеобразную "самоволку". Начинать вытаскивать из памяти всё, что когда-то волновало меня, перебирал свои впечатления, вспоминал интересные слова, образы, ну и прочее. А потом из всего этого пытался сотворить другую, более животворную среду, чем та, которая поглощала меня.

– Это называется – создавать пространство, – заметил Денис. – И о чём же были ваши вирши?

– Да собственно обо всём. Я сам ставил перед собой вопросы, сам искал на них и ответы. Это мой детдомовский способ познания. Там отвечать на них, кроме меня самого, было некому. Я размышлял о Боге, космосе, Родине, счастье, описывал виденные мной красоты, мечтал. И всякий раз у меня выходило по-новому: менялось настроение – изменялся и взгляд на какие-то вещи.

Денис с любопытством взглянул на Некрасова и спросил его:

– И как долго продолжалось ваше стихотворчество?

– Да года два, пожалуй. Как только я начал находить время для чтения стихов известных поэтов, так тут же и прекратил сочинение своих.

– И как вы это объясните? – оседлал своего журналистского конька Денис.

– Ну, во-первых, изменился я сам. У меня стал появляться литературный вкус, и я осознал, что мои стихи достаточно далеки от совершенства.

– Да, хорошо писать – не каждому дано, – вставил реплику Денис.

– Вот именно. Во-вторых, как я уже признался, меня подтолкнуло к сочинительству не вдохновение, а, может быть, чувство самосохранения. И когда я протоптал тропку к настоящим стихам, необходимость в написании своих исчезла.

– Так вы по-прежнему находитесь в стане мечтателей и продолжаете любить стихи? Я вас правильно понял?

– Правильно. Хорошие стихи мне и сейчас нравятся, – задумчиво произнёс Владимир. – Настоящая поэзия хранит в себе удивительные ощущения прекрасного. На мой взгляд, стихи, что сотовый мёд: где соты – форма, мёд – сгусток эмоций, а его тонкий аромат – поэзия.

– Должен признаться, – сказал Денис, – ваши рассуждения меня несколько озадачили.

– И что же вас в них смущает? – спросил Некрасов.

– А то, что я не чувствую за ними военного. Люди определённых профессий зачастую... – Денис запнулся... – довольно предсказуемы в ответах.

Владимир взглянул на него в упор.

– А, может, вы сами ограничиваете людей своими представлениями о них?

Денис неловко ухмыльнулся.

– А что вы думаете о прозе, или она слишком груба для вас? – неожиданно съязвил он.

– Ну что вы, хорошую прозу я тоже люблю. Правда, на беллетристику, честно скажу, времени жаль, хотя и без неё не обойтись. Иногда приключенческий роман только и спасает от скуки. Кстати, а что любите вы, Денис?

– Я предпочитаю фантастику, хорошие детективы и боевики, – с апломбом ответил он. – В них полёт мысли, головоломка, динамика. После них всегда хочется действовать. Как я понимаю, тут наши вкусы не совпадают: такую литературу вы не цените. Верно?

– Мастерски сделанные вещи и мне интересны. Но всё же я стараюсь не увлекаться ими и читать более содержательные книги.

– Редкая целеустремлённость, – сорвалось с языка Дениса.

Зоя заметила, что в его репликах и вопросах засквозило раздражение, природы которого она не понимала. Но диалог её друзей открывал их с новой, неожиданной для неё стороны, и она, боясь помешать им, в их разговор старалась не вмешиваться.

– Значит, вы отбираете для себя книги с точки зрения целесообразности?

– По возможности, – ответил Владимир.

– А как же стихи, разве это разумная трата времени?

– Уверен, что да.

– И можете обосновать? – спросил Денис.

– Постараюсь, – задумчиво ответил Некрасов.

Придержав за хромированные ободки колёса, он осторожно развернул коляску в сторону своих попутчиков.

– В пользу стихов могу привести два аргумента: первый – именно в стихах возможно несопоставимое с прозой напряжение мысли и чувств; и второй, поэзия – кратчайший путь к достижению качественно иного психического состояния человека.

– А можно чуть проще и конкретней? – проявил настойчивость Денис.

– Хорошо, – сказал Володя, – попробую пояснить на своём опыте. Чтобы поднять себе настроение, мне даже не нужно брать с полки книгу, а всего лишь достаточно затратить одну-две минуты на прочтение короткого стиха. Вот смотрите, засекаю время.

Он вскинул руку с часами и стал наблюдать за секундной стрелкой. Как только она добежала до двенадцати, его лицо приобрело некую отчётливость, и он неторопливо начал читать:

"Только камни, пески, да нагие холмы, и сквозь тучи летящая в небе луна..."

Глядя на него, можно было с уверенностью сказать, что он сейчас не здесь, в парке, а там – под летящей луною, на солёном ветру, возле ночного бушующего моря.

Его голос звучал негромко, но так искренно и страстно, что это напоминало объяснение в любви. В эти мгновения Владимир был настолько открыт и уязвим, что Зоя от этого стало как-то не по себе.

Когда Некрасов окончил чтение стиха и указал пальцем на стрелку, то оказалось, что она не пробежала и круга.

– Прошло всего сорок две секунды, а мы уже чуть-чуть изменились, – сказал он. – Прозой такого быстрого эффекта не достичь.

– Чьи это стихи? – интуитивно предчувствуя ответ, с некоторой опаской спросила Зоя.

– Бунина.

– Это что... твой любимый поэт?

– Не думаю, – ответил Некрасов. – Но в творчестве истинных мастеров поэзии непременно отыскивается минимум два-три шедевра, которыми нельзя не восхищаться. И что удивительно, сколько бы я их ни перечитывал, всякий раз, они словно драгоценные камушки, поворачиваются ко мне всё новыми и новыми гранями, удивляя своей совершенной красотой. Таких волшебных камней хватило бы на целую корону.

Не желая верить в совпадения, Зоя всё-таки спросила его:

– Володя, а почему ты прочитал именно Бунина?

– Случайно. Это стихотворение почему-то само в голову пришло.

У Дениса холодно блеснули глаза. Впечатление, произведённое Владимиром на девушку, ему явно пришлось не по душе.

Некрасов развернул коляску и неспешно толкнул ободки колёс вперёд. Денис и Зоя пошли рядом с ним.

Денис, желая вернуть себе инициативу, как-то не к месту задал вопрос:

– Скажите, Владимир, а гениальные стихи вы тоже на свой аршин меряете?

Капитан с недоумением покосился на Дениса и сказал:

– Конечно. А вы что же – на чужой?

Тот, начиная терять самообладание, снова спросил его:

– И не боитесь прослыть профаном?

– Нет, – спокойно ответил Некрасов. – Я привык полагаться на свой вкус. То, что я не зачитываюсь каким-нибудь гением, ровным счётом ничего не значит. Даже гениальному автору нужен читатель с родствен-

ной ему душой. Я, например, как ни старался, так и не смог прочитать "Дон Кихота", бросил на середине "Сто лет одиночества", одолел всего лишь несколько глав "Гаргантюа и Пантагрюэля", – ну и что? Разве это умаляет талант Сервантеса, Маркеса, Рабле? Нет. У меня должно быть с ними хоть отдалённое совпадение восприятия, языка, образности. А их нет. А раз нет этой сонастроенности, то я не испытываю и удовлетворения от прочитанного. Зато с удовольствием читаю других авторов.

– И кто же эти счастливики? – издевательским тоном спросил Денис.

– Ну, мне нравятся Грин, Паустовский, Гессе, Бальзак, Уайльд, Пушкин, Есенин. Ещё будут вопросы? – с тонкой иронией спросил Владимир.

Зоя почувствовала, что запас дружелюбия у мужчин на исходе. Денис становился всё более и более бесцеремонным. Пора остановить их.

– Ребята, а может, хватит на сегодня вопросов? Мне бы очень хотелось послушать птиц; такой радостный щебет, что дух захватывает.

– Хорошая мысль, – сказал Владимир.

– Можно, – согласился и Денис и, придержав девушку за руку, зашёл с ней за спинку коляски.

Он взялся за её левую рукоятку, а Зоя – за правую, и оба стали толкать её. Но, пройдя немного, Денис перехватил рукоятку коляски левой рукой, а правой обнял девушку и полез к ней целоваться.

Зоя сделала ему страшные глаза, – но всё напрасно. Шея у Владимира напряглась, кончики ушей порозовели. "Боже, как нелепо! Нашёл, где приставать со своими нежностями. Совсем очумел". Но вот тень от зелёного полога осталась позади. Зоя остановила коляску и, зайдя справа, сказала Владимиру:

– Ну вот, Володя, мы и погуляли. Пора прощаться.

И кивнула Денису. Тот протянул руку.

– Удачи.

Владимир ответил на рукопожатие.

– И тебе.

Денис отступил в сторону. Зоя показала ему рукой, чтобы он оставил их. Всем своим видом выказав недоумение, тот поплёлся к воротам. Встретившись с потерянным взглядом Владимира, девушка вмиг лишилась своей уверенности, и дежурные слова, готовые уж было слететь с её губ, словно прилипли к языку. Владимир взял её руку и поцеловал.

– Зоя, спасибо тебе за спасение, за надежду, что вдохнула в меня. Запомни, пожалуйста, ты мне теперь не чужой человек. И если когда-нибудь возникнет необходимость в моей помощи, дай знать через тётю Машу. Будь счастлива. И прощай.

– Прощай, – только и смогла она выговорить.

Продолжение следует.

КОНСТАНТИН СИТНИКОВ

ЦВИРКУНЫ

Рассказ

Лесник-отшельник Иван Самойлов, набирая дрова из поленницы, увидел под самым навесом, аккурат где толь подвёрнут под шест, крошечный комочек рыжей вечерницы. Комочек пристыл к щелястой, пустившей смолу, поверхности полена и покрылся ледяной коркой.

Стояли тихие предрассветные сумерки, небо за верхушками елей было тёмно-синим, и рыжий комочек казался совсем чёрным. Самойлов был мужик одинокий, не держал даже собаки по нелюдимости характера, долгими зимними вечерами либо ходил по лесу, либо надевал на бургистый нос очки и читал при свете керосиновой лампы. Он и подумать не мог, что рядом с ним появится живое существо.

С еловой лапы на голову Самойлова просыпалась снежная пыль, и неожиданно совсем рядом громко и хрипло каркнула ворона. Самойлову показалось, что старая карга смеётся над ним. Он погрозил ей кулаком и, схватив дрова в охапку, вернулся в избу. Он почему-то злился на себя, и даже валенки у него скрипели сердито.

Зверёк скоро оттаял. Он, наверное, думал, что наступила весна. Целыми днями он висел вниз головой за печной трубой, а вечером спускался к блюдцу с разведённым сухим молоком. Попив молока, он начинал умываться, как кошка, расчёсывать себе мех. Потом заворачивался в крылья и засыпал вниз головой.

Одно огорчало Самойлова: зверёк никак не хотел приручаться. Как ни уговаривал его Самойлов, как ни увещевал, и даже бранил, всё напрасно. Как-то Самойлов надолго ушёл в лес и вернулся поздно. Ещё в сеньях, обколачивая валенки, он услышал возню и писк. В избе Самойлов увидел, что квартирант пропал. Его не было ни за печной трубой, ни у блюдца с молоком. На стене тикали ходики, и их тиканье словно говорило с осуждением: так-так, бардак, так-так, кавардак.

Возня и писк доносились из дальнего угла, где стояла кровать Самойлова. Подойдя поближе, Самойлов заглянул за гору подушек и

Ситников Константин Иванович родился в 1971 году в Тульской области. Автор 2 книг. Живёт в Йошкар-Оле.

остолбенел. На постели деловито возилась молодая мамаша, обнюхивая и облизывая двоих беспомощных, лысых и слепых детёнышей. Она обхватывала их перепонкой, подталкивала головой к себе, а они тыкались губами в её напухшие соски и пищали: «Цр-р-р... ср-р-р... цр-р-р... ср-р-р...» Самойлов вспомнил, что летучие мыши могут спариваться осенью, а начать вынашивать только весной, после зимней спячки. Он покачал головой, недоумевая, что теперь делать со всей этой компанией.

Достав из-под кровати рваное тряпье, он решительно сгрёб «весёлую семейку» в охапку и переселил её на печь. Семейка оказалась очень неспокойная. На другой день, вернувшись из леса, Самойлов увидел, что тряпье на печи пусто, а вся компания снова возится на его постели. Эта история повторялась три дня подряд, пока Самойлов не махнул рукой и не постлал себе на полу. Ворочаясь на тюфяке и натягивая на голову шубу, он ворчал, что никто в доме не признаёт его за хозяина.

Окно сторожки наполовину занесло сугробом, в печной трубе свистала вьюга, а в избе было тепло и уютно. Цwirкуны подрастали быстро. Самойлов часто брал их в руки, умилялся и сердито моргал.

Однажды лесник увидел в лесу чужие следы. Он взял ружьё, встал на лыжи и ушёл в лес. Вернулся он только через два дня, с трудом передвигая ноги. Он ввалился в избу и, не раздеваясь, упал на кровать. К вечеру отлежался, сел и осторожно, шипя и надувая щёки, принялся высвобождать плечо и руку из шубы. Тёплый свитер был изодран в клочья и потяжелел от крови. Самойлов разорвал одежду на груди; грудь была разворочена дробью. Он долго сидел с закрытыми глазами, покачиваясь и с силой отдуваясь. Цwirкуны, напуганные его странным поведением, притихли и с опаской поглядывали на него из-за подушки.

Потом Самойлов рвал зубами большой медицинский пакет, смачивал, шипя и ругаясь, грудь спиртом и обматывал себя длинным, широким бинтом. Перед тем, как снова лечь, он зачем-то перезарядил ружьё и положил его рядом на пол. Только после этого опустил на спину и тяжело опустил веки.

Он не слышал, как утром загрохотали в сенях шаги, и распахнулась дверь из сеней в избу, впустив двоих браконьеров. Один был пожилой, бородатый, другой молодой, в тельняшке десантника под расстёгнутой шубой.

При виде лежащего в беспомощности лесника «десантник» усмехнулся и что-то сказал бородатому. Они нашли на полках несколько банок тушёнки и начали есть. Бросив пустую жестянку в угол, бородатый стал топить печь. Они как будто нарочно старались шуметь погромче, и вскоре Самойлов зашевелился, потянулся к ружью. «Десантник» неторопливо, со вздохом, поднялся, пинком отбросил ружьё в сторону и так же неторопливо вернулся на место.

— Ну что, отец, — ласково сказал он, — вот мы и встретились.

Самойлов закашлялся. Бородатый засмеялся сухим, трескучим смешком.

– Кончай его, – сказал он. – Любишь ты, Паша, поиграть в кошки-мышки.

– Погоди, Петрович, – усмехнулся «десантник», – дай потолковать с честным человеком.

– Кончи, потом толкуй, – гнул своё Петрович. – Только во двор выведи сперва. Закопаем его в снег, а сами тут останемся, постреляем. Жрочки полно, до весны хватит. Вон как оно всё удачно складывается.

– Неинтересная ты личность, Петрович, – с осуждением сказал «десантник». – За это тебя и бабы не любят. Ну да ладно, быть по-твоему! Вставай, что ли, – обратился он к Самойлову.

Самойлов встал. Он знал, что его сейчас будут убивать, но принимал это просто, как снег за окном. Ему только жаль было, что непрошенные гости испоганят, разорят его дом, как росомахи, и будут до самой весны бесчинствовать в лесу, делая набегии именно отсюда, из лесничьей сторожки.

– О, а это ещё что за чудо природы? – сказал вдруг «десантник».

Оттолкнув Самойлова, он наклонился над кроватью и схватил в кулак одного из детёнышей рыжей вечерницы. Цвиркуны оглушительно пищали. Мамаша суматошно шарила по простыне крылом, подгребая под себя второго детёныша, словно бы пытаясь спрятать его от глаз чужого человека.

Самойлов побледнел от бешенства.

«Десантник», с усмешкой глядя на лесника, разжал пальцы и с хрустом наступил на беспомощное тельце.

– А ну, пошёл! – крикнул он, показывая стволами в сторону выхода.

Самойлов повернулся. В это мгновение за его спиной раздался странный свист, как будто ласточка пролетела. Оглушительно грохнул выстрел, второй, и что-то тяжело стукнуло об пол. Самойлов, забыв про боль в груди, прыгнул в сторону. Мужик у печи вскочил и, вскинув ружьё, выстрелил. Но стрелял он не по Самойлову, а куда-то под потолок. Обернувшись, Самойлов увидел, что «десантник» стоит посреди избы, держась обеими руками за лицо, и из-под пальцев у него течёт кровь. Разряженное ружьё валялось на полу. Снова с леденящим свистом пронеслась в воздухе летучая мышь, и бородатый закричал. Он ещё успел выстрелить, впустую истратив последний патрон, и, прикрывая лицо, кинулся к столу.

Там его встретили два ствола. Но страшнее стволов были глаза человека, стоявшего за ними. Самойлов положил браконьеров на пол и связал их. На другое утро он отвёл их в районный центр и сдал властям. Пройдя обработку и перевязку раны в больнице, он наотрез отказался остаться и в тот же день ушёл обратно в лес.

Наступила весна, потеплел воздух, размякли и осели сугробы. Старая ворона недовольно топорщила перья и, казалось, одна была не рада теплу. «Перемены, перемены!» – насмешливо скрипела она; потом обиделась, снялась с ветки и улетела. Пришёл апрель. Детёныш летучей мыши вымахал за два месяца в полный рост, сменил тёмный мех на рыжую шубку и теперь ничем не отличался от взрослого. Давно уже он научился летать и, не желая признавать Самойлова за папашу, орошал его на лету пахучей мочой. Самойлов сердился и ворчал, что никто в доме с ним не считается.

Лес звенел, вступая в пору лета. Вот уже засели в птичьих дуплянках мухоловки-пеструшки, засновали в дуплах болтливые скворцы, а там и начали понемногу выживать хозяев с птичьих кладок беспардонные летучие мыши. Рыжие вечерницы осваивали дупла, занятые до их прилёта шершнями. Заволновались и квартиранты Самойлова. Вернувшись однажды из леса, Самойлов увидел, что молоко в блюде осталось нетронутым, а квартиранты съехали.

Он долго стоял в дверях, держась за грудь и болезненно покашливая. Запущенная рана на груди всё больше давала о себе знать, и осенью Самойлов согласился лечь в больницу.

СВЕТЛАНА СЫРНЕВА

ГДЕ ТЫ, МОЁ ЗОЛОТОЕ ОКНО?

КОЛОКОЛЬЦЫ

На клочке городской неказистой земли,
год за годом не зная привета,
голубые цветы-колокольцы цвели
как зачинщики жаркого лета.

Вот нахлынет тепло – и поднимутся в рост,
и закроют обломки сарая!
Это время коротких, стремительных гроз
синим пламенем хлещет, сгорая.

Я любила тогда проходить по дворам,
где работает бомж у помойки,
где на каждом шагу разверзается срам
и разгульный задор перестройки.

И в нелепом наряде, всегда весела,
волоча из подъезда корзинки,
разудалая тётка торжественно шла
торговать на копеечном рынке.

Где вы, буйного лета кошмарные сны,
где ты, удаль народной стихии?
Колокольцы цвели у хрущёвской стены,
колокольцы, цветы голубые.

Но всё глуше, все тише раскаты вдали,
всё стремительней катятся годы,
и дремучим бурьяном уже поросли
побеждённые силы природы.

Сырнева Светлана Анатольевна родилась в 1957 году в Кировской области. Автор семи поэтических сборников, лауреат шести всероссийских литературных премий. Живёт в Кирове.

УТРО УРЖУМА

Скользят облака над полями,
синеет в озёрах вода.
Что стало, что сделалось с нами
за долгие наши года!

Хрустальное жизни начало,
тебя мне уже не вернуть!
Но в детстве душа моя знала
единственно правильный путь.

Так в полдень из глуби колодца
небесные звёзды видны.
А счастье с рожденья даётся,
искать мы его не должны.

Добыть бы из грязи и шума
тот призрачный миг молодой,
где чистое утро Уржума
стоит над проточной водой,

где только лишь начата повесть
сердечных волнений и смут,
где глупые правда и совесть
с дороги сойти не дают.

* * *

Было окно, отворённое в сад,
веток ночных галерея.
Тихо сойдясь в освещённый квадрат,
высились стебли пырея.

В жёлтые письма, в черновики
долгое время сочилось.
Я разучилась писать от руки,
я от всего отлучилась.

Где ты, моё золотое окно?
Кануло в воду, уплыло,
донным песком затянулось оно,
скрыто под толщею ила.

В час, когда в речке струится закат,
лёгкие сны отражая,
ты не пытайся найти этот клад,
шесть глубоко погружая.

О, не тревожь устоявшихся вод -
или бесформенной тенью
бурое облако глины взойдёт
и уплывёт по течению.

РОМАНС

Облетает листва уходящего года,
всё черней и мертвей полевая стерня,
и всему свой предел положила природа -
только ты никогда не забудешь меня.

Старый скарб унесли из пустынного дома,
и повсюду чужая царит беготня.
Изменило черты всё, что было знакомо, -
только ты никогда не забудешь меня.

Это грустный романс, это русская повесть
из учебников старых минувшего дня.
Как в озёрах вода, успокоилась совесть -
только ты никогда не забудешь меня.

И остаток судьбы всяк себе разливая,
мы смеёмся и пьём, никого не виня.
Я по-прежнему есть. Я поныне живая,
только ты никогда не забудешь меня.

ПОБЕГ ПОЭТА

Человек тридцати пяти лет,
проживавший похмельно и бедно,
потерялся в райцентре поэт -
просто сгинул бесследно.

А друзья его, сжав кулаки,
всё шумели, доносы кропали -
дескать, парня убили враги,
а потом закопали.

Перерыты все свалки подряд,
перекопан пустырь у вокзала.
А жена собирала отряд
и в леса посылала.

Пить - за здоровье? За упокой?
Мужики не находят покоя:
эх, талантище был, да какой!
Он ещё б написал, не такое!

На поэтов во все времена
не верёвка, так пуля готова.
Зазевался – придушит жена,
как Николу Рубцова.

Может, снятся им вещи сны,
может, ангел встаёт у порога:
«Ты поэт? Убегай от жены!
Убегай, ради Бога!»

Так у нас глубоки небеса
и бездонные реки такие,
а вокруг всё леса и леса –
вологодские, костромские.

И земля не закружится вспять,
и где надо лучи просочатся.
Можно долго бежать и бежать,
задыхаясь от счастья.

Посреди необъятной земли
вне известности и без печали
сбросить имя, чтоб век не нашли
и пожить ещё дали!

Он бежал, никого не спросив,
мир о нём никогда не услышит.
Он исчез, и поэтому – жив,
и ещё не такое напишет.

ЗИМНЯЯ СВАДЬБА

Полночь. Деревня. Темно.
Стужа – вздохнуть нелегко!
Треснет в проулке бревно –
гул полетит далеко.

Роща навек замерла,
к небу вершины воздев.
Жучка – и та, как стрела,
с улицы мчится во хлев.

Где-то мерцает огонь,
резво скрипят ворота.
Там самовар и гармонь,
белая чья-то фата.

В эту морозную стынь
любо мне свадьбу кутить,
мимо бездвижных твердынь
лихо на тройке катить.

Стой ты, дворец ледяной,
мраморный замок любви!
Песней да пляской хмельной
брызнут паркетны твои.

Эх, погуляй, слобода,
но не кичися судьбой:
русского снега и льда
в рай не захватишь с собой!

Долго душе привыкать,
как на чужбине, в раю,
вечно грустить-вспоминать
зимнюю свадьбу свою.

Из невозвратных краёв
немо смотреть с высоты
на белоснежный покров,
на ледяные цветы.

Некому будет спросить:
чем ты, душа, смущена?
И не успела остыть
вровень с бессмертьем она.

КАЛЕНДУЛЫ

Уже, чернея в темноте,
ждала машина у калитки.
По дому пыль, и в суете
давно уж собраны пожитки.

И свет погас. Мы вышли в сад,
его навеки покидая.
Кругом тянулась наугад
земля изрытая, пустая.

Предзимняя печаль земли,
от коей ничего не надо!
И лишь календулы цвели,
забытые у края сада.

Они, возросшие в тиши,
взглянули с пажити опалой,
как современники души,
невосполняемо усталой.

И жизни гнёт, и славы тлен,
убогий слог житейской были,
итог предательств и измен
им в этот миг понятны были.

Мы мчались, обращаясь в прах,
во тьме кромешной, первородной,
и я держала на руках
букет календулы холодной.

Цветы смотрели на меня
в моём закрытом кабинете.
Они увяли за три дня,
как увядает всё на свете.

* * *

И когда, уходя, ты взглянул назад
и простился с тем, что навек любил —
в белом инее был неподвижный сад,
и не дрогнул сад, словно нежив был.

Он глядел вослед поверх бледных сёл,
ледяной цветок, голубой кристалл.
И на всём пути тем же цветом цвёл
всякий куст – и сердце тебе пронзал.

В белом поле врыт твой нетленный сад,
ни весны, ни лета не будет в нём.
Может, он, настрадавшись, на небо взят –
но и здесь студёным стоит столпом.

И в морозный день с голубых небес
тихо иней падёт на тебя, бедняк,
как прощальный дар, запоздалый жест,
хрупкий знак родства и прощенья знак.

* * *

В час закатный стоят над безлюдьем полей,
в небеса вознесясь головой,
силуэты могучих ничьих тополей,
изваянья тоски вековой.

Там, где канули сёла в глубины земли,
где деревни рассыпались в прах –
молчаливо и мощно они возросли
на неведомых миру корнях.

Что из недр пробирается к кронам живым,
для кого этих листьев шлея?
Может, разум вселенский читает по ним
тайну нашего здесь бытия.

Не они ли в подземной сплелись темноте
километрами цепких корней,
общей жилой срослись: от версты и к версте
странный гул пробегает по ней.

И, срываясь, по ветру летят семена,
и в потоке воздушной волны,
шар земной огибая, текут имена,
что не нам и не нами даны.

ПОЛЕ У ДЕРЕВНИ МОШАНЫ

В полдень здесь под куполом небес
так бесцельно пролетает ветер,
словно жизни смысл совсем исчез,
незачем и жить на белом свете.

Здесь преграда вечности снята,
нет опоры страсти и гордыне.
Гулкая гуляет пустота
по бескрайней солнечной равнине.

И тебе не следует, нельзя
уповать на помощь или милость,
словно правда нашей жизни вся
в этом месте исподволь скопилась.

Мой товарищ, лёгкий на подъём!
Нам с тобой поклажа не мешает:
мы всё так же за руку идём,
словно кто-то всё за нас решает.

Не затем ли в предвечерней мгле
нам иные открывались были:
словно мы бывали на Земле,
но ничто с собой не захватили.

АНАТОЛИЙ СКАЛА

ПЫЛЬЦА СИНИХ НЕБЕС

Рассказ

Послал Бог одному человеку пчёл. А вышло так...

Обеднял человек, обеднял или, может, соскучился, или просто состарился или, может быть, заболел. И вот, не на что ему стало жить... Думал-думал он, что ему дальше делать? И вздумал продать клеть.

Если б дети у этого мужика не разъехались по всему белу свету, то может быть, клеть ещё для чего и сгодилась. К тому и задумывалась — чтобы было где детям пожить. Если кто-нибудь женится или замуж вдруг выскочит...

А тут, раз не нужна никому стала клеть, то кроме как продать, и девать её некуда. Да к тому же, как раз покупатель в соседней деревне нашёлся. Возьму, говорит, у тебя я хоромину, и задаток дам.

А мужик и радёхонек, взял задаток — ещё месяц иль два ближе к пенсии. Иль к чему там ещё?

По весне, только снег сошёл, покупатель у клетки приехал. С помощниками. Стали собственность свою новую разбирать. Только верхний венец топорами затронули, как из всех углов труха жёлтая им в глаза и посыпалась да какие-то мелконькие муравьи во все стороны побежали.

"Ну, всё! — говорит мужику покупатель. — Не возьму я хоромину. Продавай её, кому хочешь, а деньги обратно вертай!"

И ещё на прощание рядок сверху сбросили. Уж как попадя. Одно брёвнышко в воздухе повернись вокруг себя — да по улью, что неподалёку в бурьяне лежал...

Пчеловод был мужик этот, видишь ли, раньше. Да следом за ребяташками и все пчелы у этого мужика разлетелись. А улей как был в бурьян брошен, так в нём и лежал.

И что самое интересное: за неделю до этого подходил к нему наш мужик — оттащить хотел в сторону, чтобы с клетью потом не

Анатолий Скала (Смышляев Анатолий Андреевич) родился в 1951 году в Кировской области. Публиковался в российских литературных сборниках, на страницах республиканских изданий. Живёт в Йошкар-Оле.

мешал — никого в улье не было! А тут только бревном в него стукнули — изо всех щелей целый рой разозлённых пчёл...

И все разом к работникам, что вверху топорами помахивают. Ну, те ловкие: наперёд топоров вниз попрыгали да в машину забились и дверцы плотней за собою захлопнули. Покупатель ещё на прощание мужику кулаком погрозил, да так с тем и уехал.

Прошёл час или возле того, мужик сколь-то очухался, сел на брёвнышко возле улья и думает:

"Ну, и что в тебе пчёлы нашли? Разве запах — ни рамок в тебе давно нету, ни мёда. И чьи это пчёлы? В деревне не только что пчёл, а и жителей давно нет. Разве что из соседних каких-нибудь деревень объявились. Летают, снуют тут туда-сюда.

Любопытно такое снование мужику! Отыскал он в доме пчеловодную сетку, зашил кое-где. А дымарь и смотреть не стал: когда пчёлы чужое в свой дом перетаскивают, они и без дыма своё баловство прекращают, лишь только поймут, что на этом замечены...

Приоткрыл он чуть крышку у улья и ахнул: "Ах, Господи! Да у них же там соты! Мёд капает из разломанных мест... А в середине расплод уж на выходе".

Растерялся мужик. Растерялись и пчёлки. Жужжат, выются вокруг мужика, словно спрашивают: "Ну, и что же ты нам посоветуешь?"

А что тут посоветуешь?..

Побежал мужик под черёмухи, где различное барахло у него было свалено, притащил пару рамок, прожаренных ещё с прежних времен. И давай на них соты пристраивать. Сам же думает: "Что за смиренные эти пчёлки, другие бы за такие дела уж не знай чего со мной сделали..."

И действительно: вовсе смиренные пчёлки, как будто бы чувствуют, что добра им хотят. Только мёд после грубой мужичьей работы со стен да со дна подбирают, да в новые рамки укладывают...

Не успел мужик глазом моргнуть, а уж пчёлы к нему в сетку тычутся — дескать, всё, закрывай давай улей, пока весь расплод нам не выстудил. Да подушку, смотри, поверх холстика положить не забудь: холодина ещё по ночам!

А мужик не нарадуется: "Вот помощники так помощники! Да будь эти помощники у меня чуть пораньше, я и клеть бы тогда продавать не стал и другой работёнки по дому не знай сколь приделал! Хотя, в общем-то, и сейчас ещё время есть... и сейчас ещё можно приделать!"

Ну, подумать-то так подумал, да думанного так впоследствии и не выполнил...

Да и к слову сказать, трудно было спрашивать с мужика какой-то работы в деревне, единственным и, наверно, последним уж жителем, где он был.

Правда, жизнь мужика с того дня изменилась.

До этого спал он каждый день до обеда. Проснувшись, любил походить по избе, попить чаю, потом покурить... Да коль срочного ничего больше не было — а срочного, как обычно, и не было — то опять на печь. А теперь с первым солнышком мужик был возле улья, садился на брёвнышко и ждал первой пчелы.

Иногда вместо первой пчелы появлялась оса. И тогда приходилось брать веточку или веник и сразу же пресекать посягательство этих разбойниц на пчелиный медовый запас.

Или шершни, всегда прилетавшие после ос...

Даже сбитые наземь доской или веником они только крутились в пыли, уворачиваясь от сапог мужика, и, поднявшись у самого его носа, летели куда-то к себе. Не пытаюсь ужалить побившего их мужика. Чем немало того озадачивали.

В общем, так у него с пчёлами и пошло...

Пчёлы с раннего солнышка несли в улей нектар, мужик, сидя на брёвнышке, наблюдал за порядком: гонял шершней с осами! А когда к середине дня становилось уж больно жарко, открывал пчёлам для вентиляции запасные летки.

Сидит как-то мужик возле улья и думает, чем ещё ему пчёлкам помочь? Хорошо бы растения в округе посеять, которые в настоящее время им больше нравятся... А какие им нравятся?..

Стал присматриваться: что сейчас за обножку, пыльцу, пчёлы в улей несут? Чтобы определить, что в природе для пчёл привлекательного по полям расцвело?

Непонятная что-то обножка! Голубенькая!

День на них этак смотрит мужик, два присматривается. А не может понять: у какого растения в это время такая пыльца? Даже справочник специальный достал. Есть похожая у фацелии — так не сеют её нынче в здешних местах. А сама она здесь не растёт... Есть синяк: у того пыльца грубая. А тут словно осколочки неба синего несут пчёлы на лапках в свой дом!..

Ну, наверное, через неделю подобного наблюдения пчёлы словно бы переменялись... Не то чтобы ласковости в них убавилось — нет, ещё вроде бы обходительней сделались: лишь жужжат, даже пятятся перед мужиком, когда мимо идёт. В сетку тоже не тычутся. А видать по всему, что не больно им это глядение нравится! Не хотят пропускать его к брёвнышку — дескать, всё, хватит... хватит, шагай к себе в дом. Ни к чему тебе тут...

"Ладно, — думает, — если сами меня прогоняете, сами тут себе всё и устраивайте! Ос гоняйте, летки регулируйте... Дождь пойдёт — тоже сами чего-нибудь над собой приспособляйте, или сами потом и сидите тут в сырости..."

В общем, сильно обиделся на своих пчёл мужик. Ушёл в дом и стал книжку читать. Про зверей... А которая о растениях для пчёл была — так ту выкинул...

Ну, читает, в окошко на птичек: скворцов там, воробышков разных, - поглядывает, как они суеются... Понятное дело: лето всё ж таки: у всех мысли потомством, детишками заняты!

О своих ребятишках не думает — что напрасно расстраиваться? Теперь пчёлы заместо детей...

И вдруг вздрогнул мужик: "Стоп!.. А что там за шум за окошками? Трактор, что ли, машина ли?.. Покупатель ли едет за деньгами, за авансом, что зря только выплатил за прогнившую клеть мужику?.."

Бросил книжку, на улицу выскочил. Глянул по сторонам — никого! Глянул вверх: может быть, провода среди лета, как среди зимы, шуметь вздумали? Нет — и не провода! Но теперь уж понятно, что это шумит! Рой летит над деревней! Хороший рой — далеко слышать! Пролетел уже мимо дома мужицкого. Да так дальше над улицей и летит вдоль столбов словно как по линеечке!

Ну, мужик вслед за ним!

Бежит, думает: "Вдруг да где-нибудь остановится, прививаться начнёт?.. А уж снять его, да ещё в один улей, вдобавок к тому, что имеется, определить — дело вовсе нехитрое!"

А рой так всё летит да летит...

Наконец, вроде бы, встали пчёлки. У старой ветлы на Федуловом огороде завились и в отверстие в дереве, метрах так в четырёх от земли, убираются, заползают!

Пока бегал домой за роевней да лестницей, зашли пчёлы в дупло. Огляделись, да и за дела принялись. Мусор разный наружу выкидывают, А другие уже и обножкой голубенькой в новый домик летят.

«До чего шустры! — удивился мужик. — Уж работают, словно всю жизнь тут прожили!»

«Ну, теперь, — ещё думает, — их так просто не взять. Да и вход в их дупло чуть побольше горошины! Разрубить, если что, его требуется! Пусть уж в этом дупле и живут!..»

Рассудил так мужик, ну а лестницу уносить не стал.

Мало ль, думает, к чему может понадобится?..

Да и больно охота ему было хоть бы и краешком глаза взглянуть, как в дупле пчёлы будут устраиваться. Никогда ещё прежде подобного не видал!

Вот с такими-то мыслями и вернулся домой. По привычке прошёл сразу к улью. Глядит: пчёлы словно в смущении.

"Вновь опять что-то набедакурили!" — думает. Взял дымарь. Да и без дымаря пчёлы носа не кажут на улицу. Те, что были ещё на

прилётной доске, и те внутрь убрались. Открыл улей: сидят между рамок по улочкам, глаз не смеют поднять на хозяина.

"Так", — лишь только сказал вслух мужик. А что так? Посмотрел: половины от прежней наличности нету пчёл в его улье!..

"Получается, что тот рой от меня слетел?..» — догадался мужик.

Постоял-постоял он ещё, посмотрел на остаток от бывшей семьи.

"Получается, что ни пчёл, ни мёду теперь у меня?"

Затужил мужик. Лишь одно утешение: не чужие, свои пчёлы в дупле. Уж теперь-то он выглядит, как они на свободе жилища устраивают?

И стал с этого дня подбираться к дуплу.

Сперва жердь к ветле приколотил. Потом — доску широкую, снизу — лестницу. И однажды взобрался наверх, чтоб взглянуть, что беглянки в дупле понаделали.

И опять: выются пчёлки вокруг мужика; он отверстие расширяет, гнилушки да щепки вниз скидывает, а они с грузом рядышком с ним в отверстие пробираются. Да чтоб передохнуть, к мужику же на руку и опускаются; посидят, поглядят, как дела у него продвигаются, а потом уж и дальше ползут.

Удивляется на такое мужик.

"И кто, — думает, — вздумал пчёл этих "злыднями" обзывать? Да любезнее существа на Земле не найти!.. Прямо Божьи создания. И намного умней, чем все прочие. А особенно человек!.."

Ну да все рассуждения не мешали меж тем мужику расчищать и дупло. Много было уж выкинуто из него и гнилушек и щепок, но всё ещё не видать было сот. Пчёлы, как и вначале, летели в отверстие, а затем уползали куда-то вниз.

Ближе к вечеру мужик сам чуть не влез в нутро дерева. Но гнезда не достал. Лишь дыра, раздолбленная им за день беспрестанных трудов и похожая на громадное сердце, каким его любят изображать на обложках любовных романов, зияла в ветле! Нехорошее было зрелище! Да ещё и закатное солнце добавило мрачности совершенному разорению.

Взял мужик тогда доску размером в отверстие и забил дыру. Отошёл глянуть со стороны: как теперь? Да и сплюнул: "Ну, этакое безобразие!.."

С ярко-жёлтой заплатой дупло в предзакатных лучах сейчас выглядело совершенным червонным тузом.

"Срамота!.." — произнёс лишь мужик и ушёл.

На другой день забил туза разным корьём и заметил, что пчёлы забросили старый вход и нашли себе новый, поближе к земле — тоже, видимо, не понравилась им картёжная масть.

Ну, и наш мужик стал долбиться поближе к земле. Причём каждый удар отдавался теперь в стволе дерева словно в бочке.

"Наверное, пустота там внутри и гнезду у пчёл", — рассудил мужик. Продолбил — нет гнезда!..

Правда, ствол изнутри оказался, действительно, совершенно пуст. Только в самой серёдке его вниз спускались коричневые, словно как обгоревшие, то ль прожилины, то ль сухожилия. Да и стенки ствола были словно обугленные.

"Федул, что ли, нутро у ветлы выжигал? — вновь гадает мужик. — Или, может быть, молния? Вот и стенки здесь тонкие...»

Тоже, видишь ли ты, ко всему прочему, пчеловод был Федул! Всей округе известный своими проделками. Как весна — так навешает ульев по разным местам! Глядишь: к осени рой иль два у Федула появятся. Поживут до зимы, а к весне у Федула опять ульи свободны, без пчёл стоят — опять можно их по деревьям развешивать!

И ветлу, видать, Федул выжег, чтоб пчёл привлечь. Так сказать, улей сделал во всё дерево. Умно сделал, чего уж сказать — пчёлы, вон, до сих пор в него прививаются!

Только где же гнездо-то у них?

Ухватился мужик за прожилины, в дупло влез, да ногами труху под собой и ворочает. Да далеко ещё до земли. Отпустился мужик от прожилины, хотел перехватиться за стенки руками, чтоб вниз опуститься — да так сверху вниз головой в эту кучу и рухнул.

Еле выбрался из неё... Приоткрыл глаза: свет кругом! Удивляется: "Ну, откуда тут свет? Стряс, наверное, при падении голову?.. Или, может быть, дерево рухнуло?.."

Глянул вверх: так и есть: нету дерева — одни ветки по небу торчат. Всех цветов: и зелёные, и коричнево-красные, даже синие... Сделал шаг — ветки словно бы изменили своё положение, да и цвет стал другой. Ещё раз шагнул — снова ветки свой цвет, свою форму сменили!

Понравилось так мужику: шажок сделает — полюбуется на узоры! Ещё шажок — на другие узоры посмотрит. Словно в калейдоскопе прогуливается!

Ну, шагал так, шагал, пока вовсе не спутался с этой странной игрой...

Уже кажется мужику, что идёт он по лесу. Сам маленький, на подобие муравья, а вокруг него то ли деревья, то ли цветы высотой до небес. Причём с небом сливаются. И никак не поймёшь, где чего. Потому что и листики, и цветочки на ветках голубенькие, и прогалинки между ними, где небу положено быть, тоже голубизны необычной.

И вдруг кончилось это поле с деревьями. И открылась полянка, как будто с обычными, только тоже голубенькими одуванчиками. Так головка к головке стоят одуванчики. А в середине полянки — дом. Стоит, переливается, словно радуга. А сам круглый.

И хотя понимает мужик, что действительно видит дом, но вот только никак не поймёт: как в таком доме можно жить — до того он красивый! И сам мужик уже не муравей, а ребёнок сейчас. Стоит с вдруг откуда-то взявшейся матерью. И хотя и не видит её — но какой же ребёнок не чувствует, когда рядом с ним мать?.. И они разговаривают...

— Мама, это чей дом?

— Наш. Теперь мы, сынок, в нём с тобой будем жить.

— А где ты была раньше? Почему тебя так долго не было?

— Занята была. Да, я думаю, ты не слишком скучал без меня...

— Я скучал... И всё ждал тебя!

— Ну, так значит, я раньше тебя не слыхала. А только услышала, сразу и прилетела.

— Ты, что, теперь с крыльями?

— А ты, видимо, не узнал меня? — рассмеялась мать. — Я ж царица у пчёл, что всё лето с тобой рядом жили.

— Так вот оно что! Так, выходит, царицы у пчёл всегда чьи-нибудь мамы? А я и не знал!

Повернулся он, чтоб посмотреть, что за крылья у матери, да и стукнулся головой о сухую прожилину, по которой спускался в дупло и с которой сорвался на кучу трухи. На ней он до сих пор и сидел.

"Вот ведь экое дело! — подумал мужик. — Прохлаждаюсь тут, а на улице-то уж, наверное, темнота".

Ухватился он за прожилину, вылез, глянул на мир из дупла, да и ахнул. Раньше он всё с другой высоты — чуть пониже — на это смотрел. Травы разные да суета закрывали обзор. А тут, словно впервые, открылась пред ним вся деревня... Пустая. Заросшая. Речка вдоль. С почерневшими, полусгнившими пнями от рухнувших вётел — словно жуткий старушечий рот.

Березняк по невспаханым, одичавшим полям подобрался к реке.

Удивился мужик: как раньше он не замечал, сколь заброшенной стала эта земля?.. Словно чем одурманенный жил в последние годы. С заботами не заметил, что нет той деревни, в которой родился и вырос! Не чьей-то деревни — его, собственной.

У любого живущего в этом мире есть свой город или же деревня... У него деревни больше нет.

Ушли люди. И звери, и птицы, и рыба за ними ушли. Раньше в том же Федуловом омутке окуней, щук ловили по метру длиной. А сейчас и ловить стало некому, и живности нет!

И цвет чёрный вокруг. Зелень без всякой прогалинки чёрной сажею кажется. Растения незнакомые появились. Толстенные как деревья. И запах от них нехороший, тяжёлый, как около скотомогильника.

"Там внутри по-другому, — поёжился вдруг мужик. — У них яркое солнышко. И цветочки весёлые! Пахнут ласково!.."

И совсем уж стемнело на улице, а, по-прежнему, выставлялся мужик из дупла, всё глядел на заброшенный мир, удивляясь, каким неприглядным, запущенным он вдруг стал...

.....

Где-то уж через месяц хватились того мужика. Сперва думали: к ребятишкам уехал... Потом позвонили им. Нет, оказывается, не был у ребятишек! Со временем позабылась вся эта история. Вместе с ней и мужик. А деревня, в которой он жил, и до этого уж давно в позабытых ходила. Тем дело и кончилось.

Только стали с тех пор по окрестным местам примечать: коль несут пчёлы с весны голубую, как небо, пыльцу, значит, лишнего за-скупал кто-то рядом о близких ли, дальних ли, своих родственниках или детях. Или, может быть, заболел, или начал задумываться. Или что-то ещё не так с тем человеком.

МАРГАРИТА ДЕСЯТНИК

ОТЕЦ

Волна тоски по отцу накатила вдруг спустя полтора года после его смерти. Он умер через пять месяцев после мамы.

Потерю мамы я вытосковала, выплакала. Долго не могла прийти в себя, принять, что матери больше нет. Она была моложе отца и казалась крепче его здоровьем. И всё говорила: «Если папка умрёт, оставит меня, уж вы, дочери, меня к себе заберите, в город. Мне в старости с дочерьми сподручнее как-то, чем с сыном». И вот тебе поворот – умерла первой. Оставила мужа. На волне переживаний ухода мамы смерть отца уже не потрясла меня так. А он? Как жил он эти пять месяцев после смерти жены, с которой прожил 66 лет? Другой человек и не проживёт столько, сколько они были вместе.

Он жил тихо, незаметно, молчаливо. Всё его поведение – походка, неразговорчивость, даже какое-то упорное молчание, так раздражавшее маму, умение не обижаться, отходить в сторону, – всё выражало одно: «Не хочу никому мешать». Откуда это у него?

Отец – ровесник советской социалистической республики, сменившей в 1917 году царскую Россию. Мариец. С четырёх лет – без родителей. Его отец получил смертельную рану на каменоломне и умер от потери крови. Этого мой отец не помнит. Ему рассказывали. А вот как мать его умирала от голода в суровом 1921 году – помнит. Два раза за свою жизнь он рассказывал про это – первый раз своим уже взрослым детям, и второй – внукам.

«От недоедания я был рахитом. Помню себя с большим, большим животом.

В деревню присылали из Америки гуманитарную помощь, посылки такие с продуктами, в основном с консервами. Называли эти посылки «американками». Их распределяли по голодающим семьям. А детям давали ещё и хлебные пайки. Чтобы хлеб доставался по адресу, именно – ребёнку, дети сами ходили за ним. Паёк выдавали и тут же заставляли съедать, не разрешая уносить. В это время мама моя уже слегла от голо-

Десятник Маргарита Михайловна родилась в 1952 году в Свердловской области. Автор книги прозы. Живёт в Екатеринбурге.

да. В который раз она просила меня принести ей немного хлеба. Даже если мне удавалось спрятать под одеждой кусочек для мамы, пока шёл домой – съедал его. В тот день, когда я донёс хлебушко целым до мамы, она не смогла его взять. Она умерла...» Тут отец начинал плакать. Чувство вины с четырёхлетнего возраста терзало его.

Мальчика приютили в семье его старшего брата, уже женатого. В семье этой были малолетние дети. Конечно, приёмный ребёнок был лишним ртом и обузой для принявшей семьи. Отец вспоминал, что иногда от косых взглядов снохи и попреков забивался в угол, чтобы не видел никто. Заснёт там, а его и на ужин не разбудят. Так и проспит в уголке ночь. Старался меньше попадаться на глаза взрослым. Вот откуда манера его поведения – не вылезать, не мешать, быть незаметным, молчать.

В семилетнем возрасте он попал под перепись деревенских детей. Попросили назвать имя, фамилию. Имя мальчик назвал по-марийски – «Мекеш», а фамилию... Он не знал, что такое фамилия.

– У кого ты живёшь? – спросили его.

– У брата Николая.

Так и записали его Николаевым, а имя по-русски – Михаил. Отчество – Ильич. Он знал имя своего отца.

В духе ленинского лозунга тех лет «учиться, учиться и ещё раз учиться», на волне претворения в жизнь партийной линии по ликвидации безграмотности и поддержке малограмотных нацменьшинств, сироту Мекеша направили учиться в Урало-Марийский педагогический техникум города Красноуфимска. Так и определилась его профессия – сельский учитель.

Помню, как я, учась в школе, гордилась своим отцом. Он преподавал математику, военное дело. Низкий сильный голос отца невольно составлял учеников слушаться. На его уроках не баловались.

После уроков он приходил домой к жене, которая не ходила на работу, а управлялась с детьми и хозяйством. Она его ждала. Он приходил, молча обедал и дальше опять молчал.

«Молчун, чурбан, слово выговорить не можешь», – обижалась мама. А он отвечал: «Я за шесть уроков так наговорился, что...» Но не поэтому отец молчал. Молчать его жизнь научила.

В армию он ушёл в сороковом году, до войны, успев с мамой пожениться. А вернулся домой в сорок шестом.

Война застала его на Дальнем Востоке. Он был младшим командиром Военно-Воздушных сил Северной Тихоокеанской флотилии. Точнее, был радистом. Избежал западной передовой только по той причине, что некоторое время был как бы под следствием по доносу на него товарища по службе: будучи радистом, Михаил по ночам слушал американское радио – в этом была его вина. И пока находился под следствием, прекратил писать жене, чтобы не «подводить». Потом следствие было

прекращено. Война с Германией закончилась, но отношения с Японией оставались напряжёнными, вот и провёл отец ещё год на Дальнем Востоке. В черновике «личного листка по учёту кадров», который отец заполнял, видимо, перед выходом на пенсию, написано его почерком: «Участвовал в войне с японским империализмом с 9 августа по 3 сентября 1945 года».

Ему предлагали остаться в армии кадровым офицером, привезти семью. Наверное, отец был бы отличным офицером: исполнитель, ответственный, трудолюбив, с хорошим сильным басовитым командирским голосом. Но он отказался. Стремился домой. Всё было дома. Малая родина, многочисленная марийская родня, родня его русской жены. И мне ещё думается – он тосковал по своему марийскому окружению, которого начисто был лишён в течение шести с лишним лет. Он мариец.

У марийцев свой уклад, своя культура, свой фольклор, очень своеобразный. Какие у них танцы! Вы видели их массовые танцы с чёткой ритмичной дробью, выбиваемой каблуками? Это что-то! А их песни! Марийскую песню я сразу узнаю. Она очень напевна, наивна. Вроде и проста, но «выгибулиста». Та-а-к перетекает от строчки к строчке! Не каждая певунья вытянет. А их речь! Лучше сказать, говор. Говор мягкий от присутствия большого количества шипящих согласных. Он живой и звонкий, с подчёркнутой интонацией в каждом предложении, которое характерно завершается либо чётким восклицанием, либо откровенным вопросом, либо недоумением и печалью. Взять хотя бы слово «спасибо». Как певуче, широко и мелодично звучит оно по-марийски: «та-у». Вслушайтесь только – «та-у!»

Отец во всём этом вырос. Обряды марийские, вроде жертвоприношений бычков, молитвы на особенной горе, на открытом месте – всё это соблюдалось в семье его брата.

Замечательные отличительные черты марийцев – искренность, наивность, трудолюбие, выносливость.

И собрался офицер домой.

В дальневосточном городе Советская Гавань формировался пароход. Он ждал его отплытия с чемоданом, в котором была приличная сумма денег, накопленная им из офицерской зарплаты. Но на пароход не сел. Заболел то ли малярией, то ли тифом: отец один раз одно скажет, другой раз – другое. Его, находящегося без сознания, положили в больницу, где он и провёл больше месяца. А когда выписался, ему вручили тот же че-



Михаил Ильич Николаев

моданчик с той же суммой денег. Он приехал домой с хорошей материальной поддержкой. Его встретила молодая жена с пятилетней дочкой Ниной, уже выросшей, – моей старшей сестрой.

Отец какое-то время (согласно всё тому же листку по учёту кадров – с 1958 по 1960 год) работал заместителем председателя колхоза по партийно-политической работе. Говоря по-другому и понятнее – секретарём партийной организации. Это было в колхозе «Авангард» Сажинского района Свердловской области. Колхоз объединял несколько деревень. Когда отец объезжал деревни во время посевной или уборочной страды в качалке, запряжённой лошадей с колхозного конного двора, он иногда брал меня в поездки.

В то время партия контролировала как производство в городе, так и посевную и уборочную кампании в деревне. Сельчане в ту пору не только сеяли и собирали урожай. Животноводческие фермы по производству молока и мяса работали в каждой деревне (комплексов больших тогда ещё не строили – это позже). В нашем колхозе были ещё и овчарня, лисья ферма, куроферма, пасека пчелиная. Гречиха росла на полях! И это тоже контролировалось партией. Председатель колхоза – с одной стороны, а секретарь партийной организации – с другой. Учёт и контроль. И если посевная или уборочная шли не по партийному плану, а в соответствии с погодными условиями, то, будь добр, секретарь-коммунист, объясни партии, как ты допустил такое.

Кукуруза – это мясо, сало, масло, молоко.
Мы Америку догоним, тот денёк недалеко.
Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Эх!
Мы Америку догоним. Тот денёк недалеко.

Так распевала я с подружками в школьной самодеятельности в ту пору, когда Н.С.Хрущёв активно внедрял кукурузу на наши поля.

Отец – партийный работник – был обязан в своём округе следить за моральным обликом семьи – ячейки социалистического общества, двигающегося к Коммунизму. И шли к нему деревенские женщины. Одни – с обидой на пьющего мужа, с просьбой повлиять на алкоголика. Другие – с жалобой на мужнины побои. Шли мужчины с просьбой разобраться с соседом, который передвинул забор на метр с лишним с выгодой для себя, в ущерб жалобщику. Отец успокаивал, разбирался, вмешивался.

Мама, смеясь и одновременно досадуя, говорила: «А мне кому пожаловаться на тебя, молчун ты этакий?! Вроде и не бьёшь меня, но и не пожалеешь, не приголубишь. Другим подсобляешь хозяйство укрепить, а сам живёшь в доме, в котором стена зимой промерзает до заиндевелого куржака под столом. Бани своей не имеем, в соседскую ходим мыться. Стыдобище».

Отец, наклонив голову, молчал. Он помогал всем и участвовал во всех, открывшихся ему ситуациях, но только если они не касались его семьи. Для себя, а значит, и для своей семьи он болезненно не мог ничего просить, даже когда имел для этого все основания. Что это? Патологическая скромность, взросшая на детских комплексах под лозунгом «не вылезать», «не мешать», «быть незаметным», «молчать», или нормальное поведение аскета? Так, позже, работая в школе директором, затем учителем, он мог бы настоять на учительской квартире или доме. Не смог... И только мамино изо дня в день, из года в год напоминание ему о его положении и возможностях вынудили-таки отца выписать в сельском совете стройматериалы для нового дома-самостроа. И когда уже вырос младший сын, он помог отцу поставить баньку. Свою, наконец.

Мама успокоилась, но всё равно не могла простить отцу низкий фундамент у нового дома. «Это надо же. Ещё бы один ряд камня в фундаменте – и вид у дома был бы другой, и в голбце суше. Он одно своё: «Где я камень возьму?» Камень пожалел».

А отцу было просто неудобно и стыдно, невозможно для него ещё раз попросить (хотя мог и приказать) рабочих, посланных сельским советом на помощь в постройке дома, съездить на лошади за камнем, лежащим свободно в нескольких километрах от деревни.

Скупой на ласку по отношению к жене и детям, не рассказывающий нам в детстве сказки (ведь, рассказывая, так надо много говорить), с низким, даже, я бы сказала, грубым голосом – мой отец. Но с какими добрыми марийскими глазами! Как я тебя люблю, оказывается.

Первое ощущение отца рядом со мной помню из далёкого детства. Он нёс меня, сонную, верхом на плечах, когда мы втроём (отец, мама и я) возвращались поздно из компании их друзей. Меня, как самую маленькую, брали с собой. Младший брат ещё не появился. Значит, мне было где-то 3-4 года.

Помню ещё, как глубокой ночью отец опять нёс меня, зарёванную, из дома моей подружки, в гости к которой я с трудом выпросилась у родителей. В гости – с ночевой. Ночевать-то осталась, да среди ночи со слезами запросилась к маме, папе. Подняла хозяев на ноги среди ночи. Почему-то хозяин, отец подружки, не взялся сам отвести меня (я не согласилась?), а сбегал за моим отцом на другой конец деревни. И вот я, всё ещё всхлипывая, виноватая и счастливая, опять на руках отца. Отец в тот момент, немного сердитый, казался мне таким надёжным и сильным. Он принёс мне облегчение от страданий «на чужбине».

Мужественность и силу отцовскую я связываю с таким вот ещё эпизодом из раннего детства. Был поздний вечер. Мы, дети, уже спали. «Миха-а-л-и-и-ч! – раздались крики с улицы. – Волки! Волки в деревне!» Отец схватил со стены ружьё и выбежал на улицу. Начисто забыто мною продолжение эпизода, но вот отца, спешно хватающего ружьё и выбо-

гающего на улицу под эти страшные для меня крики «волки, волки», – помню. Позднее из рассказов родителей я узнала, что такие случаи, когда волки забегали в селения, бывали. Особенно это наблюдалось в первое послевоенное десятилетие – как раз в 50-е годы – время моего детства. И объяснялось это тем, что война вытеснила зверей из западной части нашей страны: волчьи стаи уходили на восток, подальше от шума войны, от разрухи и голода. В нашей деревне зверей манила большая колхозная овчарня. Располагалась она сразу же за последним домом вдоль дороги, ведущей в другую деревню – Голенищево. За овчарней – гора Русанинская. Впереди – луг, за ним река. А вот слева и справа – две деревни. Забегут звери в овчарню, уж как там – повезёт им или нет с добычей, – а сторож спугнёт, и помчатся волки либо в Голенищево, либо в Верхний Бугалыш, нашу деревню. И вдоль по первой длинной улице – пока не выбегут с её другого края, поскольку на промежутке от края до края улицы с дороги уйти в лес сложно, только если через дворы и постройки, а с одной стороны вообще река преграждает путь.

К образу отца – сильного, мужественного, прошедшего через что-то такое неведомое, примешивалось ещё и таинственное. Таинственность эту создавал висящий на почётном месте в платяном шкафу (шифоньере) отцовский комбинезон с его армейских лет. Почему на почётном месте? Да потому что висел этот комбинезон рядом с маминым выходным платьем из тонкой тёмно-синей шерсти с белым кружевным воротничком. Комбинезон – из мягкой кожи тёмно-коричневого цвета, с капюшоном, со множеством карманов, кармашков и молний. Металлические молнии в одежде в ту пору ещё не появились (в нашей деревне, во всяком случае). Изделия из такой мягкой кожи да ещё в виде комбинезона – тоже невидаль. Мы со старшим братом, моими подружками, друзьями брата нет-нет да и примеряли этот комбинезон. «Трофейный. Японский», – было сказано кем-то из взрослых. Но мы, примерявшие, все решили: это комбинезон полярника или лётчика. И наш отец имел к этому какое-то отношение. Именно в таких комбинезонах мы видели лётчиков в появившихся первых послевоенных фильмах про Великую Отечественную войну. И именно в них, представлялось нам, могли укрываться от лютых северных морозов полярники. К тому времени отец нам ещё ничего не рассказал о своей шестилетней армейской службе, и мы фантазировали.

Потом комбинезон куда-то исчез... Но в памяти осталось то, с каким трепетом мы, дети, доставали его из шкафа и мысленно представляли в нём отца.

В родительской семье культивировали стряпание пельменей. Тесто готовила мама. Фаршем занимался строго отец. Вначале кусочки мяса он пропускал через мясорубку, затем рубил в деревянном корытце металлической сечкой. Одновременно с фаршем размельчались и перемешивались луковицы. Отец долго постукивал сечкой по корытцу, размяг-

чая мясо и лук. Затем брал деревянную толкушку, чтобы растолочь мясо с луком. В этот момент добавлялась соль. И потом уже шло разбавление водой. Чем лучше порубишь и растолчешь фарш, тем больше он впитает в себя воды, а значит, тем мягче, сочнее и вкуснее будут сами пельмени. Особым критерием качества фарша было следующее: если по краям деревянной толкушки появлялся светлый ободок жира, это значило, что фарш достаточно жирный, не постный. А уж как стряпать, то есть защипывать и заворачивать в полумесяц пельмени, учил меня отец. «Смотри, Рита. Кладёшь кругленький сочень в ладонь левой руки так, чтобы сочень лежал на трёх пальцах – безымянном, среднем, указательном. В середину сочня кладёшь фарш чайной ложкой и тыльной стороной её чуть как бы утрамбовываешь фарш в аккуратненькую кучку. Проводишь ложкой по краям сочня, обмазывая и умягчая жиром края его. Тогда сочень легко залеплять. Правой рукой скрепляешь сочень в середине. Теперь он лежит в руке в виде незакрепленного до конца пельменя. При этом большой палец поддерживает переднюю часть пельменя. Правой рукой продолжаешь скреплять пельмень справа налево до середины и чуть дальше. Чтобы удобнее было закрепить его левый уголок, пельмень перекадываешь на большой палец правой руки и левой рукой скрепляешь пельмень до конца. Затем его как бы перегибаешь на большом пальце, где он лежал, и пельмень приобретает форму полумесяца, – ненавязчиво, понизив голос, говорил отец. – Можешь не перекадывать на правую руку, так и дощипывай, держа до конца в левой, но тогда пельмень придётся чуть ли не вертикально ставить, крутить как бы вокруг центра. Смотри сама, как тебе удобнее».

«Ничего подобного, – скажет позднее первая отцова сноха. – Я как привыкла пайку делать слева направо (она работала монтажницей), так и пельмень защипываю левой рукой, слева направо и не перекадываю его в другую руку». Но это она скажет попозже, когда войдёт в нашу семью.

И ведь как-то угадывали мама с отцом соответствие количества сочной количеству фарша. Ну если только один или два сочня лишними окажутся, либо не хватит одного-двух сочных.

Именно отец почувствовал мои первые девичьи переживания на почве эйфорического, страдательного и одновременно восторженного чувства – любви, как мне казалось – к мужчине значительно старше меня.

Мне – восемнадцать. Пришла пора любить, потребность влюбиться сейчас и тут, безотлагательно. Сердце и глаза судорожно искали объект. Он быстро нашёлся.

Шла уборка зерновых в родной деревне. Объект – командированный водитель грузовой машины. Я приставлена к этой машине, чтобы помогать водопаду зерна, льющемуся из рукава комбайна, ложиться ровным слоем по днищу кузова бортовой машины. Затем – лихой рейс от ком-

байна в поле к зернотоку на разгрузку зерна. Пока сухо, пока «вёдро», как говорят в деревне в уборочную страду, комбайн работал и ночью, до утренней росы.

Ночью медленнодвигающиеся по полю комбайны казались красивейшими большими жуками. И наша машина летит то среди полей, то между полем и лесом, то между двумя грядами тёмных силуэтов берёз. Я – в кузове, лежу на трепещущем зерновом море, глаза – в небо, а там такие подружки – звёзды! Справа, слева, сзади – тёплая, мягкая темнота. Впереди – кабина, в кабине – мой объект. Это когда едем с зерном. А когда обратно, то я сижу с водителем рядом. Всё, что надо было для ослепления моего, всё образовалось в одном месте: я – готовая любить, звёзды, таинственность ранней сухой осени, пшеничный водопад, запах утренней росы и мой объект с красивым профилем и крепкими руками на руле машины. Щелчок - и я вспыхнула. Я сама стала сияющей звездой. От меня одновременно исходили и огонь, и свет, и тепло.

Потом уборочная страда закончилась. Мы разъехались: он – домой в районный центр, я – на учёбу подальше. Внешние атрибуты душевных переживаний остались в деревне. И чувства, прежде стремительно разгоравшиеся, сначала зашаяли, а потом и угасли совсем.

Но до этого, в начальный период после расставания, я старалась в каждые выходные ездить к родителям и по пути заезжать к нему на несколько часов, чтобы увидеть, чтобы прикоснуться. Из-за этих свиданий к родителям приезжала не с тем автобусом, а с опозданием на вот эти часы встреч. Родители, естественно, спросили: почему? Я ответила честно: «Заезжала к нему». Мама ничего не сказала. А вот отец... Как сейчас помню: сидел, потупив взгляд, и очень осторожно, бережно, боясь меня унижить, промолвил: «Не надо бы тебе заезжать к нему. Он старше тебя. Ну, работали вместе, сдружились, ну и забудь. А заезжать тебе к нему не надо. Просто не надо и всё».

Мама кинулась меня слабовато оправдывать, чтоб хоть что-то сказать. А отец ещё раз с тревогой повторил: «Мы беспокоимся. Ты сама будь серьёзней, выбирая друзей. Больше не заезжай». Было видно, что отец с трудом мне это говорит, боясь обидеть неловкими словами. Он был в тревоге, что-то почувствовал во мне.

Мой чуткий, мой заботливый отец! Ты не напрасно растревожился. Были основания для тревоги родительской, были. И ты это почувствовал. Ты, а не мама.

Тобой гордились не только дети и жена, тобой гордилась вся твоя большая марийская родня, всё население окружающих деревень, состоящее из марийцев, русских и татар. В ту пору редко кто из марийцев становился партийным руководителем, учителем, тридцать лет учившим в одной школе детей трёх национальностей, воспитателем в интернате, в котором жили от выходных до выходных дети из дальних деревень.

Недаром отец знал и разговаривал спокойно на трёх языках: русском, марийском и татарском.

– Чья ты? – спросят меня где-нибудь в соседней деревне.

– А Михаила Ильича, из Верхнего Бугалыша. И всё понятно. Можно не добавлять даже фамилии. Только моего отца звали так – Михаил Ильич. А вообще-то, у марийцев не принято звать по отчеству. «Михалич», – любовно произносили односельчане. Потому что, я уверена, никого из них мой отец не унизил, даже если и учил жизни. Никого грубо не судил, хотя и стыдил, бывало. Никому не сказал обидного слова. И маме обидных слов не говорил, ну, если только иногда, и то в ответ на её излишние, не понятные ему притязания. Не говорил обидных, но не говорил и хороших, тёплых слов. А мама не мирилась с этим, по-прежнему ждала ... Отец же иногда совсем не разговаривал. И чем ближе к старости, тем упорнее становилось его молчание, казавшееся маме отчуждением.

А отчуждение ли это?

Я думаю – нет.

Отец с малых лет, получая удары судьбы, обиды, проглатывал их молча и в себе хоронил – выговариваться и жаловаться всё равно было некому. Проще было закрыться, на всякий случай, от всех и вся, от настоящих, не забытых ещё обид и от возможных будущих. Выбрав женщину из русской семьи, не оттолкнувшую его, он просто надеялся, что она его примет таким, раз не оттолкнула сразу. Мама, как мне казалось по воспоминаниям из далёкого детства, не приняла его такого. Помнятся из тех лет, когда я жила с ними до окончания школы, какие-то мне не понятные мамины придирки, недовольство по отношению к отцу.

Мама не приняла его? Не поняла?

Вот он и закрылся. В том числе и от жены. Поскольку не понимал, что ещё он должен делать, кроме того, что работает для семьи и любит семью. Только сказать об этом не умеет. Ему никогда никто не говорил о любви. И даже очень возможно, что моя суровая мама ему не говорила о любви.

А мы, дети? Чувствовал ли он наше внимание к нему в более поздние годы, когда мы, уже взрослые и семейные, далеко, а он давно на пенсии? Ребёнком несколько раз я слышала от отца сказанное им в компании друзей во время застолья, что смысл его жизни – поднять и выучить детей. И вот поднял. И выучил. И уже давно пенсионер. Ведь прожил ни много, ни мало 90 лет, пережив на своём веку и голодный 1921 год, и репрессии, и Великую Отечественную, и восстановление послевоенного народного хозяйства, и семилетки партийные, и пятилетки, и Хрущёва с его кукурузой в деревне, и Брежнева, и дальше перестройку. На стадии перестройки он уже прекратил всякое обсуждение политики со взрослыми детьми, да и вообще со всеми, отстранился от внешней жизни. Такой замкнутый, закрылся ещё больше, ушёл в себя. Что чувствовал он, что думал в то время, когда партия коммунистов потерпела крах? В партию

он был принят ещё в армии. В свои зрелые работоспособные годы отец был наичестнейшим коммунистом, свято веря в идеалы будущей лучшей жизни, добросовестно и преданно работая школьным учителем во славу страны и своей семьи.

Наверное, престарелый отец перестал что-либо понимать в происходящем. Или происходящее не укладывалось в логику его жизни. Но партийный свой билет он не выкладывал на стол, сохранил его.

Как жаль, как жаль, отец, что ты не делился с нами своими размышлениями в последние годы своей жизни... Да мы и не спрашивали особенно... Ты же молчун такой...

На похоронах мамы отец нашёл в себе силы произнести тёплые слова прощания громким, твёрдым голосом: «Прощай, Мария! Мы прожили с тобой 66 лет. Всякое было в жизни – и хорошее и плохое. Прости, если когда обидел. Спи спокойно. Прощай». Очень трогательно и достойно. А ведь ещё рано утром в день похорон, когда возле мамы не было посторонних, отец наклонился над ней, погладил по щеке и зарыдал громко. Почти что упал на диван лицом вниз и плакал в голос. Мы впервые видели отца таким. Две самые дорогие женщины в его жизни, две самые глубокие привязанности – мать и жена – покинули его. Мать – слишком рано, оставив глубокую рану в его душе. Казалось, было бы справедливее, чтобы вторая женщина, жена, проводила отца в последний путь, тем более, что она его моложе, но нет... И жена его покинула, оставила...

Пять месяцев после ухода мамы он также молчаливо прожил под приглядом семьи младшего сына и утром первого августа тихо умер.

На его похоронах не говорили речей. Мало кто из его ровесников (те, кто мог сказать что-то) дожил с ним вместе до 90 лет. А кто дожил, тот не смог прийти. Уже после похорон родня задалась вопросом: «Почему никто ничего не сказал?» И ответили так: отец – великий молчальник, и никому не хотелось нарушать его правило жизни. Но по пути на кладбище женщины-марийки, сидевшие возле гроба в кузове грузовой машины, пели самую любимую марийскую песню отца. Марийцы провожают в последний путь с песнями и стараются не плакать. Спокойно, с добротой и без надрыва. Мне кажется, это правильно. Отец уходил вдогонку за мамой.

Мне думается, что он потому и пережил её, что нёс ответственность за всю её жизнь, до последнего мамино дня. Он должен был сам проводить её в последний путь, сказать над гробом при детях и людях чётко и без истерики прощальные слова. Проводить, чтобы она ушла первой и хозяйкой бы могла его встретить там совсем через короткое время.

Ах! Отец! Отец! Какой ты непознанный и неразгаданный нами, детьми, ушёл от нас!

Великий молчун, велико для нас твоё молчание!..

АЛЕКСАНДР ЛИПАТОВ

ПОЛОВОДЬЕ ЗЕМНЫХ И ГРЁЗОВЫХ ЧУВСТВ

Поэзию края Марийского сегодня, пожалуй, невозможно представить без поэтического творчества Анатолия Подольского. В его активе – пять поэтических сборников: «Меж светом и тенью» (1999), «Рябиновая тропа» (2003), «Из света сотканная нить» (2005), «Росы распахнутая свежесть» (2007), «Манящий свет» (2009).

А поэзия – штука со своими особенностями; она – что роза: красота-то манящая, а шипы – ох же и колючие! И поэт, творя стихи, всегда помнит об этом, сверяя со временем своё поэтическое творчество. И совсем не случайно у первого поэтического сборника А.Подольского такое ёмкое название – «Меж светом и тенью»: ведь именно такую предстаёт перед читателем нынешняя действительность – неустойчивая, непредсказуемая. И это чётко проступает в его стихах. Да и сами стихи – их тематика, ритмо-мелодика, стилистика – тоже по-своему отражают время, в котором живёт и творит

поэт. Потому-то и сурово его признание:

Бессвязны речи, чувства-вихри
И страстной нежности бросок...
Во власти безрассудной мысли
С букета счастья рвём цветок.

Однако и сам поэт, и лирический герой его стихов верят в приход светлого завтра:

Сегодня днём не покидай меня.
Меня совсем не бездна захватила:
А просто нежность, верность – и весна
Осенний день заполонила.

Первый поэтический сборник А.Подольского рождался в нелёгких поисках своего глагола, своей рифмо-мелодики и рифм-находок. Нелегко отвыкал автор от неудачных рифм типа тебя – с утра или высота – леса. Многие стихи страдали небрежностью поэтического лада. Но с каждым новым сборником стихов крепло его поэтическое мастерство. Помнится, поэту не раз приходилось выслушивать суровые редакторские замечания и

Липатов Александр Тихонович родился в 1926 году в Ульяновской области. Доктор филологических наук. Автор 20 книг, изданных в России и за рубежом. Живёт в Йошкар-Оле.

советы и не единожды перерабатывать наспех созданные стихи.

А в 1999 году его пригласили в поэтический альманах «Сотовый мёд», в котором были представлены стихи известных поэтов Марий Эл. А вышел альманах на стыке веков; в небольшой подборке стихов А.Подольского читатели обратили внимание на короткое, но ёмкое стихотворение, посвящённое уходящему тревожному XX веку:

Дорога льдом блестит, сверкает,
Опасный виден поворот.
Заря в тумане затухает –
Двадцатый век,
Последний год.

Весной 2003 года вышел в свет его новый сборник стихов «Рябиновая тропа». Пресса добродушно встретила стихи А.Подольского, которые воспринимались как «глоток чистой воды для жаждущего странника пустыни, дающие силы жить, надеяться и верить».

В стихах зазвучала новая словесная палитра, в музыке строк и в ритмике слога вспыхнул новый мотив – природа и человек в ней:

На дворе непогода и ветер.
Ни звонка, ни письма, ни шагов.
Унесённый годами далече,
Я сегодня тобой нездоров.

А потом – новое испытание на прочность творческого мастерства в поэтических сборниках «Из света сотканная нить» и «Росы распахнутая свежесть». В них – становление поэтического стиля автора, поиск своих незаёмных образов.

Вырос Анатолий Подольский на Вологодчине. Это – его малая родина, а деревня Подольская – начало всех его начал. И не случайно так сыновне-исповедально его стихотворение «Деревня наша – как начало...». А исповедальность эта особенная: в стихах – сыновняя боль по утраченному отчому крову, а дорога-память уводит поэта из детства в неизменно светлое прошлое: «Здесь наша церковь и погосты. А рядом – шумный сенокос», «С утра звенят на пожнях косы, купанье лошадей в обед...»

А в летний праздник – хороводы,
Под вечер в святки – ворожба.
Тальянка, сани и зароды,
И с печкой русскою изба.

И бьётся, пульсирует в стихах
память-печаль:

Но тихо нынче в сенокосы,
На пожне выросли кусты.
Дорог не видно на укусы,
Поля и выгоны пусты.

Не вернуть утраченного – этой трудной, но светлой поры детства: «И отчий дом немым укором приходит к нам из детских снов». Эта боль по утраченному проходит через само сердце поэта. В его новых поэтических сборниках стало больше стихов-откровений, стихов-раздумий; набирает силу их афористичность – умение в малом выразить многое:

Время пришло – отвечать на вопросы,
Время пришло – оплатить по счетам.
А у летних берез заплетаются косы,
И гостит тишина у реки по ночам.

Или ещё одна афористическая удача:

Нельзя желать – не наслаждаясь,
Нельзя хотеть – не оценив,
Нельзя понять – не заблуждаясь,
Нельзя зайти – не отворив.

Не мог А.Подольский как поэт-лирик миновать и вечную тему в поэзии – тему любви. Не случайно она магистральна в последних поэтических сборниках. Любовь берedit, будоражит душевные струны и сердце лирического героя; а сердце распахнуто настежь – навстречу росной свежести любви, по-тютчевски трудной и разноликой: она – «союз души с душой родной»; «их съединенье, сочетание, и роковое их слиянье, и... поединок роковой».

Именно об этом «роковом поединке», «борьбе неравной двух сердец» большинство лирических стихов А.Подольского, в коих схлестнулись два кресала, высекая искры радости и боли, доброты и чёрствости, открытости души и жестокости сердца; в них – свет и тени, находки и утраты. И, что особенно важно, поэт не идёт на поводу у нынешнего растерзанного времени, когда сегодняшние рифмоплёты ударяются в сплошную эротику и в восславление секса с его плотской похотью. В стихах А.Подольского – трудный путь сердец навстречу друг другу. Его лирический герой – за глубокие и чистые отношения с их лабиринтами таинств любовных чувств:

И когда со мною рядом,
Расторопна и мила,
Открываешь бездну взглядом,
Понимаю – увела.

Вот и сетует лирический герой:

Эти вечные терзанья:
Что важнее – долг и честь
Или нежные признанья,
Околдованная лесть?

Но любовь – это ещё и великое испытание душевных и сердечных чувств; влюбленные тут как меж двумя полюсами: на одном – лёд, на другом – пламень. И легко ли тут сделать единственно верный выбор?

Я совсем почти растерян,
Слов пустых истратил воз.
Ключ к тебе уже утерян:
Нет тепла – один мороз.

Любовь – это и боль разлуки, муки разочарования, несбывшиеся надежды; оттого-то и столь нелегко «любви растоптанный укор»:

В моих глазах – одна усталость,
В твоих глазах – один обман.
Немного нам совсем осталось,
И пылких встреч исчез дурман.

«Но как различить нам любовь и обман», коль «правду скрывает надежды туман?»

Туман и обманы, и снова один.
Видать, не умнею от новых седин.
И шрам тот не скоро в груди заживёт,
И боль от разлуки не скоро пройдёт.

Однако лирический герой никого не укоряет за несостоявшуюся любовь, не мечет громы-молнии проклятий:

И, может быть, однажды разом
Ты вдруг поймёшь – замкнётся круг.
И лишь луна усталым взглядом
Чуть подмигнет, как бывший друг.

А коль любовь всё-таки состо-
ялась (пусть трудно и мучительно),
поэт вместе с лирическим героем по
праву называют её любовью-сказ-
кой: потому что «вернули снова
сказку сами и сохраним её навек».
И торжествует высокое чувство:

Наш курс - по Млечному пути.
Звезда – в полёте... До свершенья
Под нею нам с тобой идти.

И этот космизм искренних
чувств, вера в торжество их верно-
сти – это и есть волшебный ключик
к великому таинству по имени Лю-
бовь.

А своеобразным апофеозом чи-
стой любви является стихотворе-
ние «А рядом Женщина-судьба» с
его чеканными строками:

Пусть в каждый дом войдёт весна,
Уютно станет в непогоду.
А рядом Женщина-судьба
И в радость - прожитые годы.

Особое место в поэтическом
творчестве А.Подольского занима-
ет поэтический цикл «Тайны ис-
ступленья». Когда читаешь балла-
ды «Каменный замок», «Альберт
и Луиза», «Славянка», невольно
приходит на память Мирра Лох-
вицкая с опозитизированной ею
красавицей Балькис и сказочно
обворожительным краем Сарона.
Это они у Игоря Северянина, при-
знававшего М.Лохвицкую своим
поэтическим кумиром, вызвали к
жизни большой поэтический цикл

«Миррэлия» - своеобразное «грёзо-
вое царство». В своих стихах Ана-
толий Подольский тоже обращает-
ся к давней, поэтически-сказочной
старине с её романтической при-
поднятостью и таинственной недо-
сказанностью:

Порывы ветра в чистом поле,
Берёзка, крест... и это всё?
Пора идти, но ветер стонет
И повторяет имя – чьё?
Луиза слушает, внимая,
Вдруг шорох ветра тихим стал:
- Иди, простудишься, родная, -
Альберта голос прошептал.

Но это отнюдь не уход поэта в
мир грёз: нащупан точный поэти-
ческий нерв стихового лада – жанр
баллады с её стремлением подать
любовь в крупном плане, яркими
поэтическими мазками. И в этом,
если хотите, прелесть баллад, в
коих пульсируют волнение и по-
ловодье чувств, соединяющих про-
шлое и настоящее, земное и грё-
зовое своей нежно-хрупкой нитью
времени.

Поэт надёжно торит и дальше
свою творческую борозду с её не-
лёгкими удачами и находками; он
в постоянном поиске своего, само-
витого слова с его пастельно-чи-
стыми красками-звонами.

АРНОЛЬД МУРАВЬЁВ

ТЫ ВЗОЙДИ, СУДАРЬ, ВО ГОРОД

Городок Козьмодемьянск. Нет, всё-таки правильнее - город. Был же он в былые времена по численности населения больше ближайших своих соседей - Чебоксар, Царевококшайска, Ядрино, Яранска. Назову только 1882 год: в Козьмодемьянске 7869 человек, в Чебоксарах – 6420, в Царевококшайске – 1123. Так какой из них городок?

Только потом Чебоксары и Царевококшайск, превратившийся в Йошкар-Олу, зашагали семимильными шагами, а вот остальные три увеличились только, дай бог, в три раза. А нужны ли эти семимильные? Неужели для того, чтобы приехать после долгих лет разлуки, да ходить и удивляться? Удивляться, но с восторгом ли? Ведь сердце ищет не нового, а старого. То, что всколыхнёт его и воскресит в памяти былое. А это может сотворить только тот город, который хранит старые дома, улочки, переулки. А проспекты пусть бегут по свободной территории. Вот это и умудрился сделать Козьмоде-

мьянск. И когда возвращаешься в сей город, то попадаешь в свои знакомые, почти домашние, места. Человек успокаивается, словно прильнул к родному плечу.

Расположен городок очень живописно, на пойменной части Волги и высоком её берегу. С высоты крутого берега, что называется Красной горой, открываются безбрежные волжские просторы и бесконечные леса.

Красив город и со стороны Волги, когда он вдруг, разом, открывается взорам подъезжающих к нему гостей! Окинутые зелёным одеялом, а то и белой кипенью цветущих садов холмы, карабкающиеся вверх по склонам домики, взметнувшиеся ввысь маковки церквей.

Правильно пишут некоторые авторы, что здесь особенный мирок с неспешным течением жизни, ароматом яблоневых и вишнёвых садов, мощёными улочками, вековыми домами с затейливыми резными узорами, добродушием и гостеприимством его обитателей.

Муравьёв Арнольд Валентинович родился в 1936 году в Звениговском районе АССР. Кандидат технических наук. Автор 8 краеведческих книг. Живёт в Йошкар-Оле.

И ведь неслучайно этот город так любим художниками! Каждое лето Козьмодемьянск становится настоящей Меккой для живописцев со всех окрестных мест, сюда они едут, как они любят говорить, «на пленэр». И вот "окунают" они свои кисти в этот бездонный простор, в эту ширь и великую тишину, чтобы не только запечатлеть красоту лежащего у их ног мира, но и набраться живой энергии, зачерпнуть как из неиссякаемого чудесного колодца сил, чтобы творить и жить дальше".

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ

Официально считается, что город Козьмодемьянск был основан в 1583 году как форпост молодого Русского государства в Марийском крае. Острог, построенный на высоком правом берегу Волги, напротив устья лесной реки Ветлуги позволял контролировать значительную часть враждебной в то время России территории. Так оно и случилось: острог послужил и в деле дальнейшего освоения всего Марийского края, и в подавлении крестьянских бунтов Разина и Пугачёва.

И всё же есть множество оснований сомневаться в том, что датой основания города является 1583 год (чего стоит одна легенда об Иване Грозном!). Так когда же возник на карте России Козьмодемьянск?

Наибольший вклад в изучение этого вопроса сделал профессор Ксенофонт Никанорович Сануков. Он обратил внимание на царскую «уставную грамоту» 1574 года, ко-

торая гласила: «И города и остроги по моему цареву и великого князя Ивана Васильевича всея Руси и моих детей царевича Ивана и царевича Федора ставити». Ставить их планировалось прежде всего по берегам Волги от Васильсурска в сторону Казани. Сануков отмечает: «Вероятно, примерно тогда же, исходя из намеченной сетки опорных военных поселений, появился и стрелецкий стан между Чебоксарами и Васильсурском, получивший название Козьмодемьянск».

В архивных документах ещё до 1583 года мы встречаем названия «селище Кузмодемьянское», «стрелецкий стан». Следовательно, населённый пункт на месте будущего острога уже существовал раньше. Подтверждает это и документ - надпись на Киево-Печерской иконе Божией матери (хранилась в Богоявленской церкви), введённая в научный оборот известным козьмодемьянским краеведом XIX века Спиридоном Михайловым. Надпись эта гласит: «Року 7088 месяца майя, сию икону выменяли козьмодемьянские стрельцы Гаврила Лабутин, Тимофей Кологривов, десятник, сотоварищи 21 человек. Писана в богоспасаемом граде Киеве.» Отсюда мы получаем информацию о том, что в стане находилось в то время 23 стрельца.

Очевидно, эта икона является достаточным основанием, чтобы считать датой первого упоминания поселения под названием Козьмодемьянск 1580 год - если перевести 7088 год в привычную нам систему летоисчисления от Рожде-

ства Христова. А уже в 1583 году это поселение было превращено в острог, что подтверждает и считавшееся до сих пор первым по времени письменное свидетельство о Козьмодемьянске: «И они, шод, в Кузьмодемьянском острог поставили». Согласитесь: само построение этой фразы говорит о том, что те, кто поставил острог, закладывали его не на пустом месте, а там, где уже было некое поселение – Кузьмодемьянский. Скорее всего, это был стрелецкий стан.

Возможно, при проведении тщательных археологических раскопок можно будет найти артефакты, которые послужат основанием и для более ранней датировки, чем 1580 год. Нашли же монету в Казани, которая позволила «постареть» городу на 170 лет.

А наш Козьмодемьянск «состарила» на три года обычная икона.

Откуда пошло такое необычное название нашего города? Об этом есть несколько легенд. В предании, бытовавшем в Козьмодемьянске и его окрестностях, рассказывается, что после покорения Казани (1552 год) Иван Грозный возвращался в Москву по Волге на своих судах. Одна из остановок на ночлег была сделана возле высокого мыса. Царю это место понравилось и приказал он здесь поставить острог. А было это будто бы в канун праздника «святых бессребреников» Космы (Козьмы) и Дамиана (Демьяна), и поэтому город велено было назвать их именами.

Действительно, с высокой части города, с Красной горы, от-

крывается чудесный вид на Волгу и Заволжье. Однако здесь есть одна неувязка. Дело в том, что 29 октября Иван Грозный был уже в Москве и любоваться этим красивым пейзажем накануне праздника Козьмы и Дамиана, отмечаемого 1 ноября, он не мог. Поэтому предание остаётся преданием.

По другой версии, здесь якобы проживали монахи-пустынники из Макарьевского монастыря – Косма и Дамиан. Проживать они тут, конечно, могли, так как неподалёку, в районе нынешнего посёлка Юрино, были земли монастыря. Но вот в том, что этих монахов звали именно Косма и Дамиан, есть сомнение.

И всё же давно подмечено, что легенды обычно рождаются не на пустом месте. Известно, что царь-батюшка действительно возвращался в октябре 1552 года после покорения Казани мимо этого места, и вполне возможно, что уже тогда он оценил его стратегические возможности и замыслил поставить здесь острог.

И вот уже более четырёх веков город на излучине Волги живёт под божьим благословением и защитой своих ангелов-хранителей. Не так уж много на Руси городов, которые бы носили имена святых и тем самым находились под их небесным покровительством.

СВЯТЫЕ НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

Не менее интересно и то обстоятельство, что бывшие деяния святых, чьё имя носит город, опре-

делённым образом отражаются на жизненном укладе его жителей. День праздника Козьмы и Дамиана в народе именуют Кузьминками. Посвящён он божьим кузнецам Кузьме и Демьяну, «рукомесленникам», то есть ремесленникам. И действительно, в былые времена козьмодемьянские кузнецы славились своим мастерством по всей Волге. И если уходили они на свой промысел вместе с семьями, то их охотно принимали в селениях и малых городах, вплоть до самого Урала.

Уже упоминавшиеся нами врачи-бессребреники Косма и Дамиан для лечения сырых и убогих использовали только горнее (небесное) Божие Слово, за излечение они не брали никого вознаграждения - вот с кого бы нужно брать пример.

И ещё одно замечание. Козьмодемьянск принято сокращённо называть «Кузьма», при этом как бы забывая о второй составляющей названия города - «Демьяне». Возможно, это и неспроста. В житии этих святых описывается случай, когда по очень большой просьбе исцелённой Дамиан взял у неё три яйца. Когда об этом узнал его брат Косма, то не захотел больше знать Дамиана и даже попросил после смерти не класть их рядом в одну могилу. И всё же люди, памятуя о святости братьев-врачевателей, нарушили запрет Космы и похоронили обоих вместе.

Святые покровители города неизменно помогают нам в делах наших, если чисты наши помыслы. И верится, что когда появятся

такие «помыслы» по возрождению исторической - ныне почти заброшенной - части города, то и делается это святое дело. Помогут Кузьма с Демьяном, непременно помогут, не дадут пропасть чудо-городу - уж больно много вложено в него народного «рукомесла»! И тогда можно, по словам поэта Евгения Вагина, немножко «разгуляться»:

А на день
Кузьмы-Демьяна
Разгуляюсь я,
Слегка пьяный,
за Кузьму приму
пару чарочек!

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК В ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Старый город Козьмодемьянск разложил перед гостями весь свой многовековой товар. Здесь и часовня, поставленная козьмодемьянскими стрельцами в 1698 году, и божьи храмы красивой архитектуры, и узорчатые дома. У города плещется почти Чёрное, но отнюдь не ласковое море, называемое Чебоксарским водохранилищем. Скрылись под его водами белые песочки и речные камешки, по которым шли когда-то босые бурлаки да грелись на солнышке ребятишки.

Есть что вспомнить и показать граду Козьмодемьянскому: и лесную ярмарку, и сады свои яблочно-вишнёвые, и поделки народные, и резьбу деревянную узорную, и много чего ещё. За четыре с лишком столетия город сполна уже показал всё это всем желающим

– особенно памятливы на это народ путешествующий, а паче того – пишущий.

Первый, к кому мы обратимся, будет Владимир Иванович Немирович-Данченко. Вот что писал он в 1877 году:

- Экий у вас город неприглядный! - заметил я одному чувашу, встреченному на улице. Тот даже обиделся.

- Это ещё не город! Зачем тебе лучше? Смотри, церкви есть, дома из камня. Сгорела площадь с домами - новые строят. Наш город! Поди и Москве не уступит. В таком городе и патше (царю – А.М.) жить не стыдно!

Приходилось, разумеется, только преклоняться перед козьмодемьянским патриотизмом!

Нам только следует отметить, что и марийца, да и чуваша встретить в городе в те времена было трудно, так как основное население было русское.

Первое упоминание о Козьмодемьянске в художественной литературе относится к самому началу XVII века – это древнерусские «Повесть о Ерше Ершовиче» и «Повесть о Савве Грудцыне». «Повесть о Ерше Ершовиче» была популярной сатирой, где показан предприимчивый Ёрш, явившийся с Волги «из Ветлужскаго поместья из Кузьмодемьянскаго стану» в Ростовское озеро, и туповатые неповоротливые судьи - Осётр Хвалынского моря да Сом «с большим усом». Обратите внимание на то, что главный герой повести Ёрш «из Кузьмодемьянскаго стану»

- не есть ли это ещё одно доказательство того, что ещё до основания острога на том месте был стан стрельцов?

В 1797 году Александр Радищев – «бунтовщик хуже Пугачёва», как выразилась Екатерина II, - возвращаясь из ссылки, отметил в своём дневнике: «17-е, среда. По восхождению солнца шли при тихой погоде до Косьмодамианска, а тут на бечевой. Сей город стоит на скате горы, церковей 6, меньше гораздо Чебоксар и видно, купечество не зажиточное; один дом получше и тот деревянный. Не останавливаясь,плыли мимо.» Как видно, Радищев на берег не сходил, но очевидно, что барка его проплыла близко, так как шла на бечевой с помощью бурлаков. Дальше в дневнике есть такая отметка: «Прошед город, полдневали.» Следовательно, остановка была за городом в месте, называемом горожанами «под Красным».

И ещё одному ссылке пришлось возвращаться через Козьмодемьянск – Александру Ивановичу Герцену. Но было это уже в зимнее время. Радостью возвращения, радостью свидания с близкими друзьями после долгой разлуки пронизана вся глава «Начало Владимирской жизни» в его книге «Былое и думы». Это радостное настроение Александр Иванович особенно остро почувствовал в Козьмодемьянске: «...Когда я вышел садиться в повозку в Козьмодемьянске, сани были заложены по-русски - тройка в ряд, одна в корню, две на пристяжке, корен-





ная в дуге весело звонила колокольчиком. Так сердце и стукнуло от радости, когда я увидел нашу упряжь. Так въезжал я на почтовых в 1838 год - в лучший, самый светлый год моей жизни».

Наиболее полные воспоминания из классиков оставил о Козьмодемьянске Владимир Галактионович Короленко, который внимательно изучал Приветлужский край. Свои путешествия он

начинал из города Козьмодемьянска. Очерк «В пустынных местах» даёт достаточно полное представление и о тихом провинциальном городке, и о волжских бурлаках, и о хозяйчике ветлужского пароходика, который ходит по расписанию, «когда народ соберётся», и о многом другом. Сохранились и его рисунки нашей Красной горы.

В июле 1899 года в Козьмодемьянске побывал Алексей Максимович Горький. Об этом нам напоминает стела, стоящая на площади в нижней части города (бывшей Базарной). Вместе с Горьким приплыл из Васильсурска В. А. Поссе, редактор журнала «Жизнь», в котором как раз печатались главы из романа писателя «Фома Гордеев». Воспоминания Поссе «Мой жизненный путь», бывшие в советское время под запретом, являются единственным документом об этом приезде Горького в Козьмодемьянск.

Поводом для приезда Алексея Максимовича в город стала телеграмма баронессы Варвары Ивановны Иксуль, в которой она просила Горького навестить её на пароходе, проходящем мимо Васильсурска. Баронесса в 1898 году содействовала освобождению Горького из тюрьмы, и поэтому он решил её встретить в Козьмодемьянске.

В город Горький и Поссе приплыли из Васильсурска вечером и остановились в харчевне, где была комната с одной узкой кроватью. Горький заставил Поссе лечь на кровать, а сам вытянулся на полу. Всю ночь они проговорили. На другой день друзья ознакомились с городом, а вечером сели на пароход, где их ждала баронесса Иксуль.

Считается, что Горький ни в одном своём произведении не описывает Козьмодемьянск. Но внимательное изучение рассказа «На пароходе», опубликованного в 1913 году, позволяет считать, что посещение города не прошло для

него бесследно - об этом говорит следующий отрывок из этого рассказа:

«Над городком, прижатым к горе, поднялась ущербная луна, чёрная река посветлела, ожила, лунный свет словно вымыл всю землю тёплой водой. Я ушёл на корму и сел там среди каких-то ящичков, разглядывая город, вытянувшийся на берегу. Над одним его концом толстой палкой торчала труба завода, над другим и в середине – поднялись две колокольни, одна - с золотой главой, другая, должно быть, зелёная или синяя, теперь, при луне, она кажется чёрной и похожа на истёртую малярную кисть.

Против пристани в широкое чело двухэтажного дома воткнут фонарь: вздрагивая, горит за грязными стеклами бескровный, тусклый огонь, и по длинной изогнутой вывеске ползут жёлтые крупные буквы «Трактир-с», и дальше буквы не видны. Ещё в двух-трёх местах сонного города зажжены фонари, пятна мутного света стоят в воздухе, освещая углы крыш, серые деревья и окно, нарисованное белой краской на глухой стене. Смотреть на всё это грустно».

По этому отрывку вполне можно идентифицировать описанные здесь городские места. Очевидно, две колокольни, которые упоминаются в рассказе, - это колокольни Троицкой церкви и женского монастыря. А двухэтажный дом, близко стоящий от пристани - это дом купца Е.С.Замятнина по ули-

це Набережной (ныне Ленина).

Знали и упоминали в своих произведениях город Козьмодемьянск А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, П. И. Мельников - Печерский, А. Н. Толстой, В. И. Костылев, И. Ильф, В. Г. Ян, А. Дюма-старший и другие.

ПЕРВЫЕ РИСУНКИ ГОРОДА

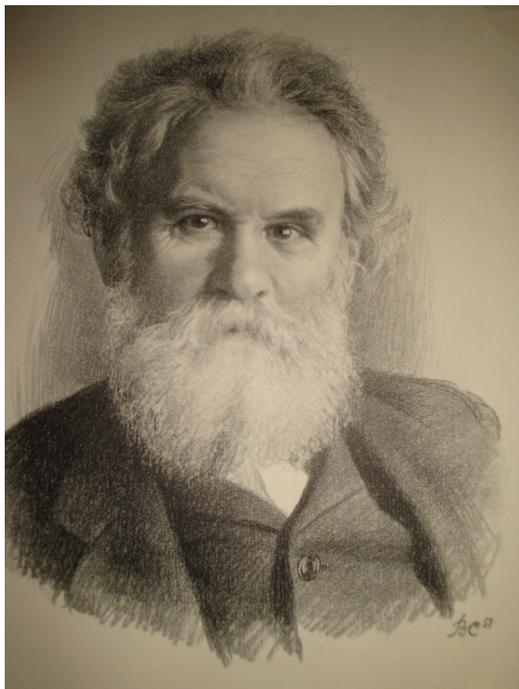
Первое графическое изображение (рисунок) города Козьмодемьянска, был сделан в 1636 году, то есть спустя 53 года после его основания. Воспроизведён этот рисунок был в 1643 году Адамом Олеарием в его знаменитом «Описании путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно». Интересно признание Олеария в предисловии к книге: «Что касается вытравленных на меди рисунков этого издания, то не следует думать что они, как это порою думается, взяты из других книг или рисунков на меди. Напротив, я сам нарисовал собственноручно большинство этих рисунков (некоторые из них наш бывший врач Г. Граман, мой верный товарищ) с натуры...» Таким образом, автором рисунка Козьмодемьянска может быть либо сам Олеарий, либо Граман.

На этом рисунке мы видим, что острог находился на отлогостях горы от её вершины до подошвы. Рвы шли по вершине горы (ул. Чернышевского) и внизу Пугачёвой горы. При устройстве рвов со всех сторон использовались естественные овраги. Этим объясняется выбор месторасположения

острога. Северная сторона имеет более сложную конфигурацию с учётом рельефа и образует, так называемый палисад, т. е. выступающую часть. На самой верхней точке в юго-восточном углу острога видно дополнительно ограждённое место, играющее роль кремля. По углам острога имеются пять башен. Угловые по восточной стороне имеют названия. Нижняя - Спасская и верхняя - Сысой, очевидно, как самая большая. Внутри острога сверху мы видим три церкви. И за палисадом в слободе у берега Волги Богоявленскую церковь. Нужно иметь в виду, что это именно Богоявленская, а не Успенская, т. к. она более ранней постройки и в ней находилась Киево-Печерская икона Божией матери, привезённая стрельцами из Киева в 1580 году. И последнее, примерно так же использованы особенности рельефа на отлогостях горы при установке нижегородской крепости.

В 1838 году братья Чернецовы – Григорий и Никанор, академики живописи, совершили путешествие по Волге и зарисовали берега от Рыбинска до Астрахани. Из 1982 рисунков общей длиной 746 метров они создали панораму «Волга», закрепили её на двух цилиндрах за окном комнаты, которую оборудовали в виде каюты и, при перематывании картины с одного цилиндра на другой, и при соответствующем шумовом оформлении у зрителя возникали ощущения движения судна.

Во время плавания по Волге братья вели дневники, которые



Владимир Галактионович Короленко

затем объединили и преподнесли Александру II со 149 миниатюрами. Изданы эти дневники были только в советское время, в 1970 году. Как и ранее Радищеву, Чернецовым из-за непогоды не удалось сойти на берег (это было 7 августа 1838 года), но рисунок города они сделали.

На нём мы видим то, что описано братьями в дневнике: «Он расположен частью на высокой горе, а частью на низменном месте; в нём видны хорошие дома с садами, на пристани находилось много судов».

«КОРОЛЕНКО НАШЕЛСЯ!»

Так воскликнул заслуженный художник России Рубен Сурьянинов, когда в своей московской квартире нашёл портрет писателя Короленко, сделанный в своё вре-

мя его отцом Василием Васильевичем Сурьяниновым, и долгое время считавшийся утерянным. Музейные работники города Козьмодемьянска давно мечтали найти этот портрет писателя, и вот - свершилось.

Как автор портрета, так и тот, кто был на нём изображен, имели отношение к Козьмодемьянску.

Василий Сурьянинов родился в селе Кумья в 1903 году, но родной своей всегда считал Козьмодемьянск. Здесь прошло его детство, здесь же раскрылся его талант художника.

Сурьяниновский род идёт из села Троицкий Посад нынешнего Горномарийского района. Дед будущего художника, мещанин Лука Андреевич Сурьянинов, в начале XIX века решил перебраться в лесную Кумью. Крепкий, видно, был мужик - прожил сто три года.

В селе тогда стояло шестнадцать дворов, всё население составляло восемьдесят человек. В 1889 году здесь было уже двадцать пять домов с русским населением в полторы сотни человек. Грамотными людьми село было не богато - «грамоте знали» всего шестеро. Стоит отметить и такой важный факт: наличие военно-конного участка с 272 лошадьми для проходящих военных команд.

В Кумье у Луки Андреевича родились два сына: Матвей и Гаврила. Старший, когда повзрослел, открыл свой постоянный двор, а всего в селе их было шесть. Умные мужики быстро сообразили: жить на Московско-Вятском почтовом

тракте и не содержать постоянный двор - это то же, что быть у колодца и воды не напиться. Сын Матвея, Алексей, владел одной из двух сельских кузниц.

У Гаврилы было пятеро детей: четверо сыновей и дочь. Один из сыновей, Василий, женился в возрасте 33 лет, когда уже крепко встал на ноги, поработав десятиком на плотях. В жёны себе он взял девицу крестьянского рода Валентину Астафьеву. В этой-то семье и родился в 1903 году мальчик Вася, будущий художник.

Но для этого ему, естественно, пришлось и потрудиться, и поучиться. Тяга к рисованию обнаружилась у Васи ещё в начальной школе. Тогда и появилась его первая картина на домотканом холсте - хотя и не шедевр, однако больше такой в селе ни у кого не было.

Двенадцатилетнего Васю отцу удалось устроить в Козьмодемьянскую мужскую гимназию. И там он оказался в руках хорошего учителя - Виктора Петровича Фёдорова, окончившего Казанскую художественную школу. Но в 1917 году за невзнос платы за обучение педсовет постановил «считать выбывшим» ученика 4 класса Сурьянинова Василия.

Когда в 1920 году в городе появились Государственные свободные художественные мастерские, Василий стал обучаться в них. Занятия там вели профессионалы, выпускники Казанской и Петроградской художественных школ: А. Григорьев, А. Перчаткин, М. Замятнина, В. Фёдоров и при-

ехавший из Москвы художник Нейгебауер. Имевший хороший организаторский талант Александр Григорьев помогал лучшим ученикам двигаться дальше. После преобразования свободных художественных мастерских в художественный техникум им. А. Е. Архипова, продолжил учиться в нём. Там Александр Владимирович заметил несколько одарённых ребят: Великанова, Кольцова, Журавлёва и Сурьянинова. Вначале он рекомендовал их для ведения уроков рисования в школах, а потом и для учёбы во ВХУТЕМАСе (Высшие художественно-технические мастерские).

Из всех наших окончил вуз только Василий. Начал работать в области плакатной графики и добился на этом поприще больших успехов, был удостоен звания заслуженного художника РСФСР. Василий Васильевич любил писать и портреты. В 1951-м (или в 1956-м) Сурьянинов сделал портрет Короленко. Наверняка при работе над портретом шли разговоры и о Козьмодемьянске - ведь Короленко в нашем городе бывал неоднократно.

Владимир Галактионович Короленко в 1885 году, после ссылки, поселился в Нижнем Новгороде. Свои путешествия по Приветлужью он всегда начинал с Козьмодемьянска. Из Нижнего ему было удобно приплыть в Козьмодемьянск на пароходе и здесь пересест на ветлужский «Любимчик». Таких путешествий у него было пять, всегда он их разнообразил:

то на пароходе, то на лодке, а чаще пешком, чтобы быть ближе к народу и родной русской природе.

Дочь писателя отмечала, что он любил слиться с толпой и слушать народный разговор. Обязательно предварительно пройдясь по городу, он делал свои записи в дневнике или делал небольшие карандашные наброски. В Козьмодемьянске его привлекала гора Красная, толпы людей на берегу.

Однажды, в 1905 году, он взял с собой двух дочерей: Наталью и Софью. Позднее Софья писала в книге об отце: «Высадившись в Козьмодемьянске, с котомкой за плечами и палкой в руке, он пошёл лесными тропами к Светлояру. Бойко зашагал к Юркину, Марьину и Воскресенску...» Так рождались его знаменитые рассказы-очерки «Река играет», «В пустынных местах» и другие.

Почти в каждой поездке Короленко делал зарисовки. Есть среди

них и виды города Козьмодемьянска – один из таких рисунков теперь хранится в музее Короленко в Крыму в посёлке Джанхот. На одном из них (с подписью автора) показаны дома по берегу и на горе Красной – там, где в настоящее время находится переправа. Второй рисунок (предположительно тоже работы Короленко) показывает берег в районе дома С.Замятнина – в настоящее время его занимает Гострах.

В 1974 году сделанный Сурьяниновым портрет Короленко был растиражирован в виде открытки. Очень символично, что именно козьмодемьянский художник написал портрет писателя, который в своё время также запечатлел наш город в рисунках. И вот теперь сын художника, Рубен Сурьянинов, решил передать копию портрета Короленко Козьмодемьянскому музею.

Это память о его отце.